

Анна Рэдклиф

УДОЛЬФСКИЕ ТАЙНЫ



СЕДЬМАЯ КНИГА



Анна Радклиф
Удольфские тайны

«Седьмая книга»

1794

Радклиф А.

Удольфские тайны / А. Радклиф — «Седьмая книга», 1794

ISBN 978-5-906-13784-5

Легендарное готическое приключение, уже более двух столетий заставляющее вздрагивать и тревожно оглядываться вокруг любителей читать долгими лунными ночами и умеющих сочувствовать странным молчаливым героиням в тревожном тумане, окутывающем древние мистические замки. Вы точно уверены, что кроме вас, в вашем доме никого нет?

ISBN 978-5-906-13784-5

© Радклиф А., 1794
© Седьмая книга, 1794

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	18
Глава 3	23
Глава 4	28
Глава 5	36
Глава 6	41
Глава 7	52
Глава 8	59
Глава 9	70
Глава 10	73
Глава 11	82
Глава 12	85
Глава 13	99
Глава 14	112
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Анна Рэдклифф

Удольфские тайны

Глава 1

*... Очаг домашний!
Приют любви и радости и изобилья!
Взаимной помощью и общим счастьем нуждаясь,
Там сходятся друзья и родственники дорогие!*

Томсон.

На живописных берегах Гаронны, в провинции Гаскони, в 1584 году стоял замок, принадлежавший дворянину Сент-Оберу. Из окон замка открывался вид на равнины Гиенны и Гаскони, расстилавшиеся вдоль реки, пестрея виноградниками, рощами и плантациями оливок. К югу вид замыкался величественными Пиренеями, грозные вершины которых, то скрываясь за облаками, то сверкая на солнце сквозь голубоватую дымку воздуха, местами поросли мрачными сосновыми лесами, спускавшимися до самой подошвы. Внизу нежная зелень пастбищ и рощ составляла контраст с грозными пропастями, и после суровых утесов глаз с отрадой отдыхал на стадах, лугах и скромных деревенских хижинах. К северу и востоку равнины Гиенны и Лангедока терялись в туманной дали; на западе Гасконь омывалась водами Бискайского залива.

Владелец замка Сент-Обер любил бродить с женой и дочерью по берегам реки и прислушиваться к журчанию ее струй. Когда-то он вел совершенно иной образ жизни, далекий от сельской простоты, и погружался с головою в наслаждения суетного света, но суровый опыт не оправдал того прекрасного образа человечества, какой он создал себе в ранней юности. Однако даже среди светских треволений принципы его остались несокрушимыми, доброта сердца не иссякла; удалившись от света, он унес с собой чувства жалости, но не озлобления и отдался простой жизни на лоне природы, чистым наслаждениям литературой и утехам семейной жизни.

Он был потомком младшей линии знатной фамилии, и в его семье решено было, что недостаток богатства он восполнит или выгодной женитьбой, или отдавшись общественной деятельности. Но у Сент-Обера было слишком развито чувство чести, чтобы осуществить эту надежду, и слишком мало честолюбия, чтобы принести в жертву то, что он считал счастьем, стяжанию богатства. После смерти отца он женился на прекрасной девушке хорошего рода, но не богатой. Расточительность или, вернее, сумасбродства старика Обера так расстроили его состояние, что сын счел нужным расстаться с частью родового имения и несколько лет спустя после женитьбы продал ее Кенелю, брату своей жены, а сам поселился в небольшой усадьбе в Гаскони, где делил свое время между семейными обязанностями, сокровищами науки и гениальными произведениями литературы.

К этому поместью он был привязан с детства. Еще мальчиком он часто ездил сюда со своими родителями; до сих пор у него осталось в памяти воспоминание о добродушном, ласковом старике-крестьянине, управляющем имения, и о вкусном угощении из фруктов, меда и сливок. Зеленые луга, где он так часто резвился в избытке здоровья и юношеских сил, леса, под свежей сенью которых он задумчиво бродил юношей, отдаваясь меланхолии, впоследствии сделавшейся одной из главных особенностей его характера; горные тропинки, чудесная река, далекие равнины, казавшиеся беспредельными, как его молодые надежды, — обо всем этом Сент-Обер не вспоминал иначе как с восторгом и сожалением. И вот, наконец, ему удалось осуществить свое давнишнее желание: удалиться в уединение.

Жилой дом в этом поместье был в то время не более как летняя дача, привлекательная своей уютной простотой и живописностью окружающей природы, но необходимо было произвести в доме значительные перестройки, чтобы приспособить его для житья целой семьи. Сент-Обер чувствовал какую-то нежность к каждой части старого здания, памятного ему с детства, и не допускал, чтобы сдвинули с места хоть единый камень; так что новые пристройки были приспособлены к стилю старого здания и составили вместе с ним простое и уютное жилище. Госпожа Сент-Обер, с присущим ей вкусом, постаралась о внутреннем убранстве дома, отличавшемся той же незатейливой, элегантной простотой в меблировке и отсутствием лишних украшений, – в этом убранстве сказывались характер и привычки обитателей дома.

Библиотека занимала западную часть здания и состояла из коллекции лучших сочинений на древних и новых языках. Эта комната выходила в рошу, расположенную на краю отлогой покатости, спускавшейся к реке; высокие деревья бросали в комнату мягкую, меланхолическую тень; из окон глаз мог охватить сквозь раскидистые ветви веселую, роскошную местность, расстилавшуюся к западу и замкнутую слева крутыми склонами Пиренеев. Рядом с библиотекой помещалась оранжерея, полная редких, прекрасных растений; одним из любимых развлечений Сент-Обера было изучение ботаники: зачастую он проводил целые дни в горах, занимаясь своей любимой наукой. Иногда его сопровождали в этих маленьких экскурсиях госпожа Сент-Обер, а часто и дочь его; забрав с собой плетеную корзинку для сбора растений и другую с холодной закуской, они бродили среди романтических и великолепных местностей и любовались дивными картинами природы. Устав бродить среди скал и взбираться на высоты, доступные разве только энтузиастам и где не видно было ни единого живого существа кроме ящериц, – они отыскивали какое-нибудь укромное убежище на склоне горы и там, под тенью раскидистой лиственницы или кедра, наслаждались своей незатейливой трапезой, запивая ее водой из прохладного ключа, протекающего в густой мураве, и вдыхая благоухание диких цветов и ароматных трав.

К восточной стене оранжереи примыкала комната, обращенная к равнинам Лангедока – Эмилия называла эту комнату своей, – там были собраны ее книги, рисунки, музыкальные инструменты, ее любимые птички и цветы. Там она занималась изящными искусствами, к которым влекли ее и вкус и природное дарование; в этих занятиях ею руководили советы и наставления отца и матери. Окна этой комнаты были особенно привлекательны; они доходили до самого пола и были обращены на лужайку, окружавшую дом. За рощами рябин, лимонных, пальмовых и миртовых деревьев открывался вид на далекие равнины, орошаемые Гаронной.

Часто по вечерам можно было видеть, как поселяне этого благословенного уголка, по окончании дневного труда, плясали группами на берегу реки. Их веселые песни, незатейливые танцы, своеобразные живописные наряды девушек придавали этим сценам характерный, чисто французский колорит.

С главного фасада замка, обращенного к югу, то есть в сторону величавых гор, помещались внизу большие сени и две прекрасные приемные; верхний этаж был отведен под спальни, кроме одной комнаты с балконом, где семья обыкновенно завтракала.

В саду, окружавшем замок, Сент-Обер сделал много существенных преобразований по своему вкусу, но он так любил все старое, напоминавшее ему детство, что во многих случаях приносил вкус в жертву чувству. Возле дома росли две старые лиственницы, бросавшие на него тень и загоразивавшие вид. Сент-Обер часто говаривал, что он, по слабости своей, готов был бы заплакать, если б кто срубил эти деревья. Вдобавок к лиственницам он насадил на этом месте рощицу из берез, сосен и рябин. На высокой террасе, образуемой крутым берегом реки, была плантация померанцевых и лимонных деревьев, цвет и плоды которых распространяли по вечерам чудное благоухание. К ним прибавлено было еще несколько деревьев, других пород. Здесь, под широкой тенью платана, простиравшего свой роскошный шатер над берегом реки, Сент-Обер любил сидеть тихими летними вечерами с женой и детьми, любясь сквозь ветви

на заходящее солнце и наблюдая, как его яркое сияние мало-помалу гаснет на горизонте, пока сумерки не окутают весь пейзаж однообразной серой тенью. Здесь он любил читать и беседовать с госпожой Сент-Обер, или же играть с детьми, отдаваясь обаянию тех сладких чувств, которые неразлучны с простой жизнью и природой. Часто он говаривал со слезами счастья на глазах, что подобные минуты несравненно отраднее для него, чем время, проведенное среди шумных блестящих собраний, которыми так дорожит свет.

Сердце его было полно; он не мечтал ни о каком ином счастье – что редко встречается на свете; сознание того, что он живет по правде и совести, придавало ясность и спокойствие его душе и делало его способным ценить все окружающие его блага.

Часто глубокие сумерки заставляли его под сенью любимого платана. Ему нравился этот тихий час, когда угасают последние лучи света; когда звезды одна за другой загораются в эфире, отражаясь в темном зеркале вод; час, который навеивает на душу задумчивую нежность и порою возносит ее на вершины созерцания. Он любил наблюдать, как всплывала луна, проливая кроткий свет сквозь листву; он так долго засиживался под платаном, что иногда ему подавали туда его скромный ужин, состоявший из плодов или молока. Вдруг среди тишины ночной раздавалась чарующая песня соловья и пробуждала в сердце безотчетную грусть.

В первый раз счастье этой семьи, удалившейся от света, было нарушено смертью двух маленьких сыновей Сент-Обера. Из уважения к отчаянию жены Сент-Обер старался не выказывать своего горя и переносил его философски, однако, в сущности, никакая философия не могла доставить ему утешения в такой потере. Теперь у него оставалась в живых единственная дочь; с тревожной нежностью следя за развитием ее детской души, он неусыпно старался бороться с теми чертами и наклонностями, которые впоследствии могли помешать ее счастью: с раннего возраста она проявляла необыкновенную чуткость души, теплоту привязанности и доброе сердце; но вместе с тем у нее замечалась чересчур тонкая чувствительность, и это могло вредно отозваться на ней. С годами эта чувствительность придавала оттенок грусти ее настроению, мягкость ее манерам и особую трогательную грацию ее красоте. Но Сент-Обер, как человек разумный и дальновидный, не мог не понимать, что такие качества хотя и очаровательны, но опасны для их обладательницы. Поэтому он старался укрепить ее ум, приучить ее владеть собою, не поддаваться первому побуждению своего чувства и встречать разочарования с хладнокровной осмотрительностью. Научая ее не увлекаться первым своим впечатлением, приобретать ту стойкую твердость духа, которая одна может служить противовесом нашим страстям и поставить нас – насколько это совместимо с нашей натурой – выше обстоятельств, он сам учился выдержке, потому что часто ему приходилось смотреть с кажущимся равнодушием на слезы и борьбу, вызванные у нее его уроками.

Наружностью Эмилия походила на мать: та же изящная правильность линий, та же тонкость черт, те же голубые глаза, полные кроткой прелести. Но главной, неотразимой ее привлекательностью было постоянно меняющееся выражение ее лица, но мере того, как во время разговора пробуждались тончайшие чувства ее души.

Сент-Обер тщательно развивал ее ум. Он давал ей уроки по всем наукам и близко ознакомил ее с изящной литературой. Кроме того, он преподавал ей языки латинский и английский, главным образом с той целью, чтобы она могла понимать красоты лучших произведений поэзии. С самых ранних лет она обнаружила врожденный вкус к прекрасному, а Сент-Обер считал за правило поощрять все то, что могло содействовать ее счастью. «Развитой ум, – говорил он, – есть лучшая охрана против заразы безумия и порока. Ум мало сведущий постоянно ищет развлечений и готов погрузиться в заблуждение, чтобы избежать томления лени. Обогащите этот ум идеями, научите его мыслить, и соблазны внешнего мира встретят противовес со стороны внутреннего мира. Мышление и образование одинаково необходимы для счастья и в сельской и в городской жизни; в первом случае они устраняют неприятное ощущение лени и доставляют высокое наслаждение, пробуждая вкус к прекрасному и великому; во втором

случае они делают рассеянную жизнь не столь необходимой и, следовательно, ослабляют интерес к ней.

С самого раннего возраста Эмилия обнаружила любовь к природе; притом ей больше всего нравились не блестящие красками мирные пейзажи; она любила дикие лесные тропинки в горах, мрачные ущелья, где безмолвие и величие уединенности навевали священный трепет на ее душу и возвышали ее помыслы, направляя их к Творцу неба и земли... Там она часто подолгу оставалась одна, охваченная каким-то очарованием, до тех пор, пока не потухал последний луч заката, и вечерняя тишина нарушалась лишь одиноким колокольчиком овец или отдаленным лаем сторожевой собаки. Тогда мрак леса, ветерок, шелестящий листвою, летучая мышь, мелькнувшая в сумерках, свет в хижинах, то появляющийся, то исчезающий, – все это трогало ее душу и пробуждало в ней восторг и поэзию.

Любимой целью ее прогулок была маленькая рыбацья хижина, принадлежащая Сент-Оберу, в лесистой долине на берегу речки, которая вытекала из Пиренеев, пенясь, пробивалась среди скал и затем безмятежно струилась по лесу, отражая в себе тенистые ветви. Над лесом, защищавшим долину, вздымались вершины Пиренеев, местами видные сквозь прогалины. Кое-где выделялся какой-нибудь дикий утес, увенчанный кустарником, или пастушья хижина, прилепившаяся к скале, под тенью темного кипариса. Сквозь прогалины леса открывался вид на далекий ландшафт, где роскошные пастбища и покрытые виноградниками склоны Гаскони полого спускались к равнинам; там, на извилистых берегах Гаронны, рощи, села и виллы с очертаниями, смягченными расстоянием, сливались вдали в одну роскошную гармоничную картину.

Этот домик был любимым убежищем самого Сент-Обера; он часто искал там защиты от полуденного зноя, с женой, дочерью и книгами или приходил туда в тихий вечерний час послушать песню соловья. Иногда он приносил с собою музыкальный инструмент и будил далекое эхо нежными звуками гобоя; к ним зачастую присоединялся голос Эмилии, звонко разносившийся над водами горной речки.

В одну из таких экскурсий Эмилия заметила следующие строки, написанные карандашом на деревянной обшивке стены:

Сонет

*Спеши, мой карандаш! послушный моим вздохам.
Спеши поведать нимфе здешних мест,
Когда раздастся звук ее шагов воздушных.
Причину слез моих и скорби нежной!
Изобрази ее прелестный образ
И взор ее, где светится душа,
И лик задумчивый и кроткий,
Улыбку грустную, и грацию движений, —
Портрет тебе подскажет юноша влюбленный.
О, выскажи ей все, что у него на сердце...
Но нет, не всю ту грусть скажи, что в сердце он таит;
Так, часто под шелковым лепестком цветка
Таится яд, что может искру жизни погубить.
Но кто, глядя на эту ангельскую улыбку,
Может бояться ее чар и думать, что она обманет!*

При стихах не было никакого посвящения, поэтому Эмилия не могла отнести их к себе, хотя несомненно она, а не кто другой, могла быть названа нимфой здешних мест. Перебрав в уме весь небольшой кружок своих знакомых, она не могла найти никого, кому бы эти стихи могли быть посвящены, и таким образом она осталась в неуверенности; такая неуверенность была бы, может быть, тягостна для всякого праздного ума, но Эмилия не имела досуга придавать значение такому пустому случаю; легкое тщеславие, возбужденное похвалами, скоро изгладилось, и она перестала об этом думать среди чтения, занятий науками и делами благотворительности.

Около того же времени Эмилия была встревожена нездоровьем отца; он захворал лихорадкой, хотя и не опасного свойства, но сильно изнурявшей его организм. Госпожа Сент-Обер и Эмилия с неусыпной нежностью ухаживали за больным. Выздоровление шло медленно; но когда наконец Сент-Обер начал поправляться, здоровье его жены, напротив, сильно пошатнулось.

Первое место, куда он направился, лишь только был в состоянии выходить на воздух, была его любимая рыбацья хижина. С утра туда послали из дома корзину с провизией, несколько книг и лютню Эмилии; рыболовных снарядов не требовалось, — Сент-Обер никогда не находил удовольствия в том, чтобы мучить и истреблять животных.

Сперва занялись ботаникой, потом сели обедать; все радовались выздоровлению отца семейства и возможности побывать в своем любимом уголке. Сент-Обер разговаривал с привычным оживлением; все окружающее восхищало его.

Для здоровых людей непонятна та живительная радость, которую ощущает больной, очутившись среди природы в первый раз после долгих страданий и заточения в одной комнате. Зелень лесов и пастбищ, луга, испещренные цветами, ароматный воздух, журчание прозрачного ручья, даже жужжание малейшего насекомого в тени деревьев как будто возрождают душу и делают жизнь отрадой.

Госпожа Сент-Обер, радуясь веселости и выздоровлению мужа, забыла о собственном нездоровье; гуляя по лесным тропинкам романтической долины и беседуя с мужем и дочерью, она глядела на них с нежностью и со слезами на глазах. Сент-Обер замечал это и тихо укорял жену за излишнюю чувствительность; но она только улыбалась, жала руку мужу или Эмилии

и не могла удержать слез. Он чувствовал, что и ему сообщается это растроганное умиление, острое до боли; тень печали омрачила его черты, и он подумал с тайным вздохом: «Когда-нибудь я с безнадежным сожалением буду вспоминать об этих минутах, как о вершине счастья! Дай Бог мне не дожить до того, чтобы оплакивать потерю существ, которые мне дороже жизни!»

Под влиянием своего настроения он попросил Эмилию принести лютню, на которой она умела играть с трогательным чувством. Подходя к рыбацкой хижине, она с удивлением услышала звуки этого инструмента: чья-то рука исполняла печальную мелодию. Она стала слушать в глубоком молчании, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть музыканта. В домике было тихо, и никто не показывался; она продолжала слушать, но скоро восхищение ее сменилось легким испугом; ей вспомнились строки, написанные карандашом на стенке домика, и она не знала, что делать – идти ли в хижину или вернуться.

Покуда она колебалась, музыка замолкла; после минутной нерешительности она собралась с духом, направившись к рыбацкой хижине, вошла и увидела, что она пуста! Ее лютня лежала на столе; все казалось нетронутым, и ей уже представилось, не слыхала ли она звуки какого-нибудь другого инструмента, но вдруг она вспомнила, что, уходя отсюда с отцом и матерью, она оставила лютню на подоконнике, теперь же она очутилась на столе. Она встревожилась, сама не зная почему; меланхолический вечерний полумрак, глубокая тишина, царившая кругом, прерываемая лишь легким шелестом листвы, усиливали ее жуткое чувство. Она хотела выйти из домика, но почувствовала дурноту и села. Случайно взгляд ее скользнул по строкам, начертанным карандашом на деревянной обшивке стены: она вздрогнула, точно увидела чужого человека, но подавила волнение и подошла к окну. К строкам, замеченным ею раньше, были прибавлены новые, где упоминалось ее имя.

Теперь, уже не сомневаясь, что стихи обращены именно к ней, она все-таки не могла догадаться – кто их автор. В эту минуту ей показалось, что она слышит шаги возле домика; в испуге она схватила свою лютню и поспешно убежала. Она нашла отца и мать гуляющими по тропинке по склонам долины.

Достигнув вершины зеленеющего холма, осененного пальмами, откуда открывался вид на равнины и долины Гаскони, они все трое уселись на траве. Пока они любовались дивным видом, вдыхали аромат цветов и травы, Эмилия сыграла и спела несколько любимых мелодий со свойственным ей чувством и тонкостью выражения; слушая музыку и тихо беседуя между собою, они замешкались в этом живописном местечке до тех пор, пока последний луч солнца не погас над равниной: потускнели белые паруса, скользившие по Гаронне у подножия гор, и вечерние тени окутали всю местность. Настала тьма, печальная, но не лишенная приятности. Сент-Обер и его семейство встали и с сожалением покинули холм; увы! Госпожа Сент-Обер не подозревала, что никогда больше не увидит его!

Дойдя до рыбацкой хижины, она заметила, что потеряла браслет, и вспомнила, что сняла его с руки после обеда и оставила на столе, когда пошла гулять. После долгих поисков, в которых Эмилия принимала деятельное участие, Госпожа Сент-Обер принуждена была смириться с потерей браслета. Он был ей особенно дорог потому, что в него был вделан миниатюрный портрет ее дочери, поразительно похожий и лишь недавно написанный. Когда Эмилия убедилась, что браслет действительно пропал, она вспыхнула и задумалась. Что входил кто-то чужой в рыбацкую хижину во время ее отсутствия, это она еще раньше знала, благодаря случаю с лютней и строками, набросанными карандашом. Из смысла этих строк можно было заключить, что поэт, музыкант и вор – одно и то же лицо. Но хотя слышанная ею музыка, стихи на стенке и исчезновение портрета представляли замечательное стечение обстоятельств, что-то удерживало ее от упоминания об этих фактах. Однако про себя она решила никогда больше одной не посещать рыбацкого домика.

Тихо побрели они домой; Эмилия размышляла о только что случившемся. Сент-Обер с чувством спокойной благодарности думал о том счастье, какое послала ему судьба, а Госпожа Сент-Обер была несколько опечалена и встревожена потерей портрета дочери. Подходя к дому, они заметили вокруг него необычайное движение и суету; перекликались голоса; люди и лошади мелькали меж деревьев, и наконец, застучали колеса перед фасадом замка; на лужайке они увидели ландо, запряженное взмыленными конями. Сент-Обер узнал лицо своего родственника и в прихожей встретился с господином и госпожой Кенель, уже входившими в дом. Они выехали из Парижа несколько дней тому назад и теперь находились на пути в свое имение, отстоявшее всего на десять миль от «Долины» и приобретенное ими за несколько лет до этого у Сент-Обера. Кенель был единственный брат госпожи Сент-Обер; но так как, несмотря на близкое родство, между обеими семьями не было ни дружбы, ни симпатии, то сношения между ними не были часты. Господин Кенель вел светскую жизнь; цель его была достигнуть высокого положения в обществе, а вкусы направлены к роскоши и блеску. Ловкость его и знание людей помогли ему достигнуть почти всего, о чем он мечтал. Не удивительно, что подобный человек не мог оценить Сент-Обера; тонкость вкуса, простота и умеренность в желаниях считались им признаками недалекого ума и ограниченных взглядов. Брак сестры его с Сент-Обером был ему неприятен: он рассчитывал, что ее замужество поможет ему в его честолюбивых замыслах; действительно, у нее было перед тем несколько женихов, сановных и богатых, льстивших его пылкими надеждами. Но сестра его, за которой тогда ухаживал и Сент-Обер, поняла, что счастье и блеск не одно и то же; она не колеблясь пожертвовала этим блеском для достижения истинного счастья. Так ли думал Кенель или иначе, но он готов был принести в жертву благополучие сестры для удовлетворения своего собственного честолюбия; и когда она вышла за Сент-Обера, он не стесняясь высказал ей, как презирает ее нелепый выбор. Госпожа Сент-Обер, хотя и скрыла от мужа это оскорбление, но в глубине сердца затаила горькую обиду на брата. С этих пор в их отношениях установилась холодность; брат это замечал и чувствовал.

В своем собственном браке он не последовал примеру сестры. Жена его была итальянка и богатая наследница, а по природе и воспитанию – женщина пустая и легкомысленная.

Кенели, посетив Сент-Обера, решили в этот день остаться у него ночевать, а так как в замке не нашлось места для слуг, то их отправили в ближайшую деревню. После первых приветствий завязалась беседа, в которой Кенель щегольнул своим остроумием и светскими связями. Сент-Обер, уже достаточно долго пробывший в уединении, чтобы отвыкнуть от этих тем, несмотря на это, слушал его терпеливо и внимательно, и Кенель остался в уверенности, что пустил пыль в глаза своему собеседнику. Ввиду смутного времени, при дворе Генриха III было тогда мало пиров; но те немногие празднества, что происходили там, Кенель описывал с мельчайшими подробностями, не упуская случая прихвастнуть. Но когда он завел речь о герцоге Жуайезе, о тайном договоре, якобы заключаемом с Портой, и о том, как смотрят при дворе на Генриха Наваррского, – Сент-Обер наглядно убедился, что его гость мало смыслит в политике и вообще не занимает того положения, каким кичится. Кенель выражал такие мнения, что Сент-Обер избегал спорить с ним, поняв, что его гость не способен чувствовать и понимать что хорошо и справедливо. Тем временем Госпожа Кенель изливалась перед госпожой Сент-Обер; удивлялась, как она может проводить жизнь в такой «берлоге», и, с очевидным желанием возбудить ее зависть, расписывала пышность балов, банкетов и церемоний, только что происходивших при дворе по случаю бракосочетания герцога Жуайеза с Маргаритой Лотарингской, сестрой королевы. С одинаковой подробностью она изображала и те празднества, которые сама видела, и те, на которые не попала. Живая фантазия Эмилии, с юношеским любопытством слушавшей эти рассказы, еще дополняла и украшала их. А госпожа Сент-Обер, глядя на свою семью, со слезами на глазах думала, что, действительно, богатство и роскошь могут украсить счастье, но создать прочное счастье способна одна лишь добродетель.

– Скоро двенадцать лет, не правда ли, Сент-Обер, как я приобрел ваше родовое имение? – сказал господин Кенель.

– Да, около того, – подтвердил Сент-Обер, подавляя вздох.

– Вот уже пять лет, как я не бывал там, – продолжал Кенель. – Париж и его окрестности – единственное место в мире, где можно жить. Я так погружен в политику, у меня столько важного дела на руках, что мне трудно отлучиться хотя бы на месяц или два.

Сент-Обер молчал, и Кенель заговорил снова.

– Не понимаю, как вы, несмотря на то, что живали в столице и привыкли к обществу, можете существовать в другом месте, а в особенности в такой глуши, как здесь, где ничего нельзя ни видеть, ни слышать, словом, где вовсе и не ощущаешь жизни.

– Я живу для себя и для семьи, – возразил Сент-Обер, – теперь только я узнал счастье – с меня этого довольно; а прежде я знал жизнь.

– Я намерен истратить тридцать-сорок ливров на разные переделки в замке, – объявил Кенель, как будто не замечая слов Сент-Обера, – потому что будущим летом я хочу пригласить сюда месяца на два своих друзей, герцога Дюрефора и маркиза Рамона.

На вопрос Сент-Обера, в чем будут состоять эти переделки, Кенель отвечал, что он снесет весь восточный флигель замка и возведет на его месте ряд конюшен.

– Затем я пристрою, – продолжал он, – еще гостиную, столовую и наконец, ряд комнат для прислуги – теперь мне некуда поместить и третьей части моего собственного штата.

– Помещалась же там прислуга моего отца! – заметил Сент-Обер, огорченный мыслью, что старинное здание будет переделано, – а штат у отца был не малый.

– Наши понятия несколько развились с тех пор, – сказал Кенель, – что тогда считалось приличным образом жизни, теперь уже никуда не годится!

Даже спокойный Сент-Обер вспыхнул при этих словах; но гнев его скоро сменился презрением.

– Местность вокруг замка загромождена деревьями, – добавил Кенель, – часть их я хочу вырубить.

– Как! и деревья вырубить! – воскликнул Сент-Обер.

– Ну, разумеется. Почему же и нет – деревья загораживают вид. Там есть каштан, который своими ветвями заслоняет весь южный фасад замка – он такой старый, что, говорят, в дупле его может поместиться человек двенадцать: вы сами со своей восторженностью вряд ли не согласитесь, что нет ни красоты, ни пользы от такого отжившего, ветхого дерева!

– Боже милостивый! – возмутился Сент-Обер, – неужели вы решили погубить этот благородный каштан, вековую гордость имения! Он был в цвете лет, когда строился дом. Как часто, бывало, в юности я лазил по его могучим ветвям, помещался как в беседке среди его густой листвы; и когда дождь лил ливнем – ни одна капля не попадала на меня! Как часто я сживал там с книгой в руке, то читая, то любуясь из-за ветвей на окружающий пейзаж, на заходящее солнце, до тех пор, пока не наступали сумерки, загоняя птичек домой в их гнездышки среди густой зелени! Часто бывало... однако, простите, – спохватился Сент-Обер, вспомнив, что он говорит с человеком, который не мог ни понимать, ни одобрять его чувств, – я говорю о временах и чувствах старосветских, как та жалость, которая побуждает меня скорбеть об этом почтенном дереве.

– Конечно, оно будет срублено, – решил Кенель, – я думаю насадить в каштановой аллее несколько ломбардских тополей; моя жена очень любит тополя; она говорит, что они замечательно украшают виллу ее дяди в окрестностях Венеции.

– На берегах Brentы, еще бы! – сказал Сент-Обер, – там тополя со своей пирамидальной формой рядом с пиниями и кипарисами, осеняя легкие, изящные портики и колоннады, бесспорно украшают вид; но среди исполинов леса, возле массивного готического здания...

– Прекрасно, милый мой, – прервал его Кенель, – я не стану спорить с вами; вы должны непременно сперва побывать в Париже и только тогда мы с вами столкнемся. Но, кстати, о Венеции: я имею намерение отправиться туда будущим летом; события, может быть, так сложатся, что я сделаюсь обладателем этой самой виллы. Мне рассказали, что прелестнее ее ничего нельзя себе представить! В таком случае я отложу упомянутые перестройки в замке до будущего года; может быть, я соблазнусь остаться в Италии на долгое время.

Эмилия несколько удивилась, услышав, что он говорит о намерении остаться за границей, после того, как уверял, будто его присутствие в Париже так необходимо, что он с трудом мог вырваться оттуда на месяц или на два; но Сент-Обер слишком хорошо знал бахвальство этого человека, чтобы удивляться его словам: возможность отсрочки проектируемых перестроек подавала ему надежду, что они так никогда и не осуществляются!

Прежде чем разойтись на ночь, Кенель пожелал переговорить с Сент-Обером наедине; они удалились в соседнюю комнату и оставались там продолжительное время. О чем был разговор – никто не знал; как бы то ни было, Сент-Обер, вернувшись в столовую, казался расстроенным; тень грусти по временам отуманивала его черты, и это тревожило госпожу Сент-Обер. Когда муж с женой остались одни, ей захотелось спросить о причине его озабоченности, но ее удерживала деликатность, всегда отличавшая ее поступки. Она рассудила, что если бы Сент-Обер желал сообщить ей о причине своего беспокойства, то он не стал бы ждать ее расспросов.

На другой день перед отъездом Кенель имел вторичный разговор с Сент-Обером.

Гости, пообедав в замке, выехали, пользуясь прохладной порой дня, в свое имение Эпурвилль и на прощанье усердно приглашали к себе всю семью Сент-Обер; в сущности им не столько хотелось доставить удовольствие друзьям, сколько похвастаться перед ними своим великолепием.

После их отъезда Эмилия с радостью вернулась к своим обычным занятиям, прогулкам, беседам с отцом и матерью, которые тоже не менее нее радовались, избавившись от своих тщеславных и заносчивых гостей.

Госпожа Сент-Обер, жалуясь на легкое недомогание, отказалась от обычной вечерней прогулки, и Сент-Обер с дочерью отправились одни.

Они выбрали дорогу, ведущую в горы, намереваясь посетить нескольких старых пенсионеров Сент-Обера, которым он ухитрялся уделять пособия из своего скудного дохода.

Раздав бедным их еженедельный паек, терпеливо выслушав жалобы некоторых из них, смягчив их горести и недовольство добрым словом сочувствия и сострадания, Сент-Обер вернулся домой через лес.

– Люблю я этот вечерний сумрак в лесу, – молвил Сент-Обер, душа которого наслаждалась дивным спокойствием от сознания совершенного доброго дела. – Помню, еще в юности, этот сумрак вызывал в моем воображении целый рой волшебных видений и романтических образов; признаюсь, я и теперь не совсем нечувствителен к тому высокому энтузиазму, который будит мечту поэта: я способен подолгу задумчиво бродить в мрачной тени, вглядываясь в сумрак и с восторгом прислушиваться к мистическому шепоту леса.

– Ах, милый отец, – сказала Эмилия с внезапно навернувшейся слезой, – ты описываешь как раз то самое, что я сама чувствую так часто, думая, что эти грезы свойственны мне одной! Но слушай! как ветер зашумел в верхушках деревьев! Как торжественна наступившая затем тишина! А вот снова повеял бриз, словно голос лесного духа, что сторожит лес по ночам. Но что за огонек мелькнул вдали? Исчез... а вот он снова появился у корня того старого каштана... Гляди, отец!

– Ты такая любительница природы, – сказал Сент-Обер, – а не узнала светлячка? Однако пойдем дальше, может быть увидим фей – они бывают иногда его спутницами. Светлячок дает свет, а они чаруют его музыкой и пляской.

Эмилия усмехнулась.

– Хорошо, папа, – сказала она, – если ты допускаешь такой союз фей со светлячком, то я сознаюсь, что я предупредила твою мысль и, пожалуй, решусь прочесть тебе стихи, сочиненные мною однажды вечером в этом самом лесу.

Решайся, отбрось колебание: послушаем причудливую игру твоей фантазии. Если она наделила тебя чарами, то тебе нечего завидовать и феям.

Если моей фантазии удастся очаровать твой ум, – сказала Эмилия, – то, конечно, мне не стоит завидовать феям.

И пока они шли по лесу, она прочла отцу сочиненную ей поэму о светлячке и о лесных феях.

Светлячок

*Отраднa тeнь в лесу на мягкой мураве зеленой
В летний вечер, когда пройдет освежающий дождь,
Когда косые золотистые лучи сверкают сквозь листву
И в разреженном воздухе реет легкокрылая ласточка!
Но еще прелестнее наблюдать, как солнце отходит на покой.
Наступят сумерки, и веселые феи
Запляшут по лесным тропинкам, где цветы
Не склоняют своих гордых головок под их резвыми играми.
При звуках нежной музыки они танцуют до тех пор.
Пока взойдет луна, и луч ее, пронизывая трепещущую листву
И бросая светлые блики на землю, направит фей
В ту чащу, где тоскует соловей.
Там они перестают плясать, пока не замрет песнь грустная
его —
Безмолвные, как ночь, внимают они песне.
И вот, растроганные сладкою
Мелодией, они клянутся соловью, что будут охранять
Приют его священный от вторжения людского;
Когда звезда вечерняя опустится за горы
И томная луна покинет свод небесный.
Как станет грустно им, хотя они и феи,
Если не подспею я со своим бледным фонарем,
И хотя им было б грустно без меня, но они неблагодарны и любви
моей не ценят.
Порою, когда путник запоздает в лесу
И я попадусь ему на пути, желая посветить ему и помочь
выбраться из леса,
Они своими волшебными чарами заставляют меня сбить его с
дороги
И бросить его в грязи, покуда не потухнут звезды.
Тогда они начнут мелькать перед ним в причудливых образах
И поднимают заунывный вопль в лесу.
Тогда я в ужасе забиваюсь в свою норку.
Но вот, смотрите! крошечные феи вьются в хороводе
Под веселые звуки труб, рогов и тамбуринов
И звонких дудок и нежной лютни.
Пляшут они вокруг дуба – пока не взойдет утренняя заря.
Вон крадется в прогалине влюбленная чета, стараясь избежать
царицу фей,
Которая злится на их нежные чувства и ревнует меня.
Вчера я ввечеру светил им в темноте, в траве росистой.
Когда они искали алый цвет, чей сок способен избавить их от ее
волшебных чар.
Чтоб наказать меня, царица держит вдалеке свой резвый рой
С веселой музыкой труб, лютней, тамбуринов,*

И если я приближусь к дубу, то она махнет своим волшебным жезлом —

Танцы прекратятся и музыка замолкнет.

Ах, если б мне добыть тот алый цвет, чей сок способен победить ее чары.

И если б я умел извлечь тот сок и пустить его по ветру,

Я перестал бы быть ее рабом и путников морочить,

А стал бы помогать влюбленным, не боясь волшебниц.

Но скоро рассеется туман в лесу, погаснет бледная луна, исчезнут звезды

И станет грустно им, хотя они и феи, без тусклого сиянья моего.

Что бы ни думал Сент-Обер об этих стихах, он не мог отказать своей дочери в удовольствии надеяться, что он одобряет их. Похвалив ее поэму, он погрузился в задумчивость, и оба молча продолжали путь, пока не достигли замка; Госпожа Сент-Обер уже удалилась на покой. За последние дни она чувствовала слабость, недомогание и через силу перемогалась ради гостей; зато она теперь совсем расхворалась. На другой день у нее появились лихорадочные симптомы. Сент-Обер призвал доктора, и тот определил, что больная страдает той же горячкой, от которой он сам недавно оправился. Она заразилась, ухаживая за мужем, ее слабая натура не в силах была противостоять заразе, которая вызвала тяжелое изнурение. Сент-Обер удержал врача у себя в доме. Он вспомнил те чувства и размышления, которые томили его сердце в тот день, когда он в последний раз посетил рыбацкий домик вместе с женой, и у него явилось предчувствие, что эта болезнь будет иметь роковой исход. Однако он скрыл это впечатление от больной и от своей дочери, стараясь, напротив, поддерживать в ней надежду, что ее неусыпный уход не останется напрасным. На вопросы Сент-Обера доктор высказал мнение, что исход болезни зависит от многих обстоятельств, которых он не в силах предвидеть. Но сама больная, по-видимому, твердо знала к чему дело клонится, и это можно было прочесть по ее глазам. Она часто устремляла взор на своих встревоженных родных с выражением жалости и нежности, как будто предвидела ожидавшую их печаль; ее взгляд, казалось, говорил, что только ради них она сожалеет о жизни. На седьмой день наступил кризис. У доктора было очень озабоченное лицо; она это заметила и, воспользовавшись минутой, когда ее родные вышли из комнаты, сказала ему, что она предчувствует близкую кончину.

– Не пытайтесь обманывать меня, – промолвила она, – я знаю, что мне недолго осталось жить: я приготовилась к смерти, издавна готовилась к ней! Но раз мне недолго остается жить, то не пробуйте из ложного сострадания поддерживать надежды у членов моей семьи. Это только еще усилит их мучения, когда они лишатся меня. Я постараюсь собственным примером научить их покорности.

Доктор был глубоко растроган; он дал слово повиноваться больной и прямо объявил Сент-Оберу, что надежды нет. Сент-Обер, при всей своей философской стойкости, не мог сдержать своего горя, получив такое ужасное известие; но боязнь, что его горе измучит жену, заставила его все-таки владеть собою в ее присутствии. Эмилия в первую минуту была ошеломлена приговором врача; но затем у нее явилась надежда, что, несмотря ни на что, мать ее может поправиться; за эту надежду она упорно цеплялась до последней минуты.

Болезнь шла своим ходом; Госпожа Сент-Обер терпеливо выносила страдания; спокойствие, с каким она ожидала смерти, почерпалось ею из глубокого сознания вечного присутствия Бога и надежды на иной, лучший мир. Но, при всей своей религиозности, она не могла совершенно подавить в себе горя при разлуке с близкими ее сердцу. В эти последние часы она долго беседовала с мужем и Эмилией о загробной жизни и на другие религиозные темы. Ее ангельская покорность судьбе, твердая надежда встретить своих близких в будущей жизни,

усилия скрыть свою печаль по поводу предстоящей временной разлуки, порою так сильно волновали Сент-Обера, что он принужден был отходить от ее постели. Выплакавшись в соседней комнате, он торопливо отирал слезы и возвращался к больной уже со спокойным лицом; но это усилие еще больше растрavляло его горе. Никогда еще Эмилия не сознавала так ясно пользу отцовских наставлений, учивших ее сдерживать свои чувства, как в эти минуты тяжкого испытания. Но когда все было кончено, она сразу отдалась своему горю и убедилась, что до сих пор ее поддерживала только надежда.

Глава 2

*Я мог бы повесть рассказать такую,
Что слово каждое тебе бы растерзало душу.*

Шекспир

Госпожу Сент-Обер похоронили на соседнем сельском кладбище; муж и дочь провожали ее до могилы вместе с длинной вереницей поселян, искренне оплакивавших эту превосходную женщину.

Вернувшись с похорон, Сент-Обер заперся у себя. Когда он вышел, лицо его было спокойным, хотя бледно и истомлено страданием. Он приказал всем домочадцам собраться в зале. Одна Эмилия отсутствовала: угнетенная печалью после пережитой тяжелой сцены похорон, она удалилась в свою комнату, чтобы заплакать в одиночестве. Сент-Обер пошел за ней и молча взял ее за руку; несколько мгновений он не мог овладеть своим голосом.

– Эмилия, – сказал он, наконец, – я хочу помолиться со всеми домочадцами, и ты присоединишься к нам. Мы должны просить поддержки свыше. Где же нам найти опору, как не там?

Эмилия подавила слезы и последовала за отцом в залу, где уже собрались слуги. Сент-Обер тихим, торжественным голосом прочел вечернюю службу, прибавил молитву за усопшую. Голос его несколько раз срывался, слезы капали на страницы книги, и наконец, он умолк. Но искренняя, горячая молитва мало-помалу принесла отраду и утешение его сердцу.

По окончании молитвы, когда слуги разошлись, он нежно поцеловал Эмилию и сказал:

– С самого раннего детства я старался научить тебя владеть собою; я указывал тебе, как это важно в жизни, не только потому, что самообладание предохраняет нас от опасных соблазнов, и отвлекающих нас с пути истины и добродетели, но и потому, что оно помогает сдерживать такие движения души, которые, хотя и считаются добрыми, но если переходят известную границу, становятся уже порочными, потому что последствия их дурны. Всякое излишество вредно: даже печаль, святая в источнике, становится страстью эгоистичной и несправедливой, если ей дать волю в ущерб нашему долгу; под долгом я понимаю то, что мы обязаны делать в отношении самих себя и других. Предание излишнему горю нервирует ум и почти лишает его способности наслаждаться теми благами, какие милосердный Бог предназначил быть солнцем нашей жизни. Милая моя Эмилия, помни и исполняй те правила, которые я так часто внушал тебе, – ты уже познала собственным опытом, насколько они разумны. Печаль твоя тщетна. Не считай эти слова общим местом, но старайся с помощью разума победить свое горе. Я не хочу подавлять твоих чувств, дитя мое, а только учу тебя владеть ими; как ни велико зло, проистекающее от слишком чувствительного сердца, но от бесчувственного сердца уже ничего нельзя ожидать хорошего. Тебе известно, как я страдаю, и поэтому ты знаешь, что это не пустые слова, которые в подобных случаях так часто говорятся для того, чтобы заглушить самый источник искреннего горя, или просто, чтобы щегольнуть фальшивой философией. Я хочу доказать своей Эмилии, что сумею исполнить на деле то, что высказываю. Все это я говорю тебе потому, что мне невыносимо видеть, как ты предаешься тщетному горю, за недостатком того сопротивления, которого надо ждать от рассудка. До сих пор я этого не говорил потому, что во всяком горе бывает период, когда доводы рассудка должны уступать природе. Период этот миновал и наступает другой, когда чрезмерное горе, войдя в привычку, уничтожает эластичность духа, так что становится почти невозможным совладать с собой – этот период еще предстоит тебе. Ты, моя Эмилия, наверное, докажешь, что хочешь избежать этого.

Эмилия сквозь слезы улыбнулась отцу.

– Дорогой мой, – проговорила она дрожащим голосом и хотела прибавить: я постараюсь доказать, что достойна быть твоей дочерью, но нахлынувшие чувства благодарности, дочерней любви и горя не дали ей договорить.

Сент-Обер дал ей выплакаться, затем перевел разговор на посторонние темы.

Первый, кто посетил Сент-Обера в его горе, был некто Барро, человек с виду суровый и нечувствительный. Его сблизило с Сент-Обером общее увлечение ботаникой, и они часто встречались во время экскурсий в горах. Барро удалился от света и почти отказался от общества, живя в прелестном замке у опушки леса, неподалеку от «Долины». И он также разочаровался в людях; но он не питал к ним жалости и не печалился за них, как Сент-Обер; он больше возмущался их порочностью, чем сострадал их слабостям.

Сент-Обер несколько удивился, увидав его; прежде на его многократные приглашения он всегда уклонялся от посещений замка, а теперь явился без зова и вошел в приемную как старый друг. Несчастье Сент-Обера как будто сгладило всю суровость и предрассудки его сердца. Но он выказывал сочувствие своим друзьям не столько словами, сколько обхождением; о самом предмете их скорби он говорил мало, но нежная внимательность к друзьям, смягченный голос и задушевные взгляды были красноречивее слов и шли прямо от сердца.

В этот грустный период его жизни Сент-Обера посетила также Госпожа Шерон, его единственная сестра, овдовевшая несколько лет тому назад и теперь поселившаяся в своем имении под Тулузой. Сношения между ними никогда не были особенно часты. Ее соболезнования отличались необыкновенным многословием, но ей было чуждо волшебство взгляда, проникающего в душу, и волшебство голоса, проливающего бальзам на раны сердца. Она старалась уверить Сент-Обера, что искренне сочувствует его горю, восхваляла добродетели его покойной жены и вообще утешала его как умела. Эмилия плакала, не осушая глаз, пока тетка разглагольствовала; Сент-Обер был спокоен, молча слушал ее и, выслушав, переводил разговор на другие темы.

Прощаясь, она настоятельно приглашала племянницу не откладывая посетить ее.

– Перемена места развлечет вас, – говорила она, – не годится давать волю своему горю!

Сент-Обер сознавал, конечно, справедливость этих слов; но в то же время ему более чем когда-нибудь не хотелось покинуть места, где он был так счастлив. Присутствие жены освящало каждый уголок и с каждым днем, по мере того как притуплялось его острое горе, нежные воспоминания все крепче и крепче привязывали его к дому.

Но от некоторых посещений отделаться трудно, и таким был визит, который ему необходимо было отдать своему шурину господину Кенелю. Откладывать его более становилось невозможно и, желая вызвать Эмилию из ее угнетенного состояния, он повез ее в Эпурвилль.

Когда экипаж въехал в лес, смежный с домом его предков, глазам Сент-Обера снова представились сквозь деревья каштановой аллеи увенчанные башенками углы замка. Он вздохнул при мысли, сколько воды утекло с тех пор, как он был здесь в последний раз; ему мучительно было вспомнить, что замок принадлежит в настоящее время человеку, который не умеет ни ценить, ни почитать его. Наконец въехали в аллею с высокими деревьями, бывало приводившими его в восторг, когда он был еще мальчиком, и мрачные тени которых теперь так гармонировали с его настроением. Подробности здания, поражавшего своей массивной величавостью, постепенно выступали из-за ветвей: обрисовывались и широкая башня, и сводчатые ворота, ведущие во двор, и подъемный мост и сухой ров, окружавший все здание.

Стук колес вызвал к воротам целую армию слуг; Сент-Обер вышел из экипажа и повел Эмилию в готическую прихожую, теперь уже не увешанную, как бывало прежде, оружием и старинными фамильными гербами. Все это было убрано; старые деревянные панели и балки потолка были выкрашены в белую краску. Давно исчез и длинный стол, когда-то стоявший в верхнем конце залы, где хозяин дома любил угощать своих гостей и где раздавался, бывало,

их смех и громкие песни. На массивных стенах висели какие-то легкомысленные украшения, и вообще все изобличало безвкусию и непонимание теперешнего владельца.

Расторопный слуга-парижанин провел Сент-Обера в приемную, где сидел Кенель с супругой; они встретили гостей с чопорной любезностью и, проговорив несколько банальных фраз соболезнования, тотчас же и позабыли о своей покойной родственнице.

У Эмилии глаза наполнились слезами, но из гордости и обиды она старалась сдерживать их. Сент-Обер, спокойный и учтивый, держал себя с достоинством, но без натянутости, а Кенель чувствовал какую-то неловкость в его присутствии, сам не зная почему.

После непродолжительного общего разговора Сент-Обер просил разрешения у хозяина дома переговорить с ним наедине; а Эмилия, оставшись одна с госпожой Кенель, узнала от нее, что к обеду приглашено много гостей, и, между прочим, принуждена была выслушать сентенции вроде того, что «все минувшее и непоправимое отнюдь не должно нарушать веселья настоящей минуты».

Когда Сент-Оберу сказали, что ожидаются гости, его возмутила бесчувственность и неделикатность Кенеля; сгоряча он, было, собрался тотчас же уехать домой. Но, узнав, что приглашена его сестра, госпожа Шерон, нарочно для свидания с ним, и кроме того сообразив, что нетактично раздражать родственников, которые могут быть полезны его Эмилии, он решил остаться: если б он уехал, его обвинили бы в бестактности те самые люди, которые сами проявляют так мало деликатности.

В числе гостей, приехавших к обеду, было два итальянца, – один, некто Монтони, дальний родственник госпожи Кенель, мужчина лет сорока, чрезвычайно красивой наружности, с выразительными, мужественными чертами; главной особенностью его лица была какая-то надменная властность и острый, пронизывающий взгляд. Синьор Кавиньи, его приятель, человек лет тридцати, значительно уступал ему в важности осанки, но отличался такою же вкрадчивостью манер.

Эмилия была неприятно поражена приветствием, которым Госпожа Шерон встретила ее отца.

– Дорогой брат! – воскликнула она, – какой у тебя болезненный вид; пожалуйста, посоветуйся с доктором!

Сент-Обер с грустной улыбкой отвечал ей, что он чувствует себя не хуже обыкновенного; но Эмилии в ее тревоге за отца теперь представилось, что он действительно болен.

В другое время Эмилию развлекли бы новые лица и их разговоры во время обеда, который был сервирован с непривычной для нее изысканной роскошью, но теперь она находилась в слишком угнетенном состоянии духа. Монтони, недавно приехавший из Италии, рассказывал о смутах, волновавших страну; с жаром говорил о раздоре партий и о вероятных последствиях возмущения. Друг его с не меньшей горячностью разглагольствовал о политике своего отечества; восхвалял процветание и правительство Венеции и хвастался ее решительным превосходством над всеми прочими итальянскими государствами. Потом он обратился к дамам и с таким же красноречием заговорил о парижских модах, французской опере и французских нравах, причем не преминул вернуть тонкую лесть, особенно приятную на французский вкус. Лесть эта была, как будто не замечена теми, для кого она предназначалась, но действие ее, выразившееся в каком-то раболепном внимании слушателей, не ускользнуло от его наблюдения. Когда ему удавалось отделаться от любезных ухаживаний остальных дам, он обращался к Эмилии, но та ничего не знала о парижских модах, о парижских операх; ее скромность, ее простота и сдержанность представляли резкий контраст с обращением других дам.

После обеда Сент-Обер украдкой вышел из столовой, чтобы еще раз полюбоваться старым каштановым деревом, обреченным на погибель. В то время как он стоял под его тенью и глядел вверх на его ветки, все еще густые и роскошные, сквозь которые трепетали клочки голубого неба, в голове его быстро проносились события и мечтания его юных дней, образы

друзей и родных, давным-давно исчезнувших с лица земли, и он чувствовал себя существом совершенно одиноким, не имеющим никого на свете, кроме Эмилии.

Так стоял он неподвижно, погруженный в воспоминания былой молодости и вот, наконец, ряд событий, вызванных его воображением, завершился образом умирающей его жены; он вздрогнул и скорее вернулся в комнаты, чтобы забыть печальное видение в кругу оживленного общества.

Сент-Обер приказал подать экипаж рано, и Эмилия заметила, что всю дорогу домой отец был молчаливее и сумрачнее обыкновенного; но она приписывала это тому, что он посетил любимые места, где протекла его молодость, и не подозревала, что у него есть еще другая, скрытая причина печали.

Вернувшись домой, она почувствовала себя еще печальнее и удрученнее прежнего: более чем когда-нибудь она ощущала отсутствие дорогой матери, которая, бывало, всякий раз, как она возвращалась домой, встречала ее лаской и улыбкой; теперь дома было пусто и безмолвно!

Но чего не в силах сделать рассудок и воля, то делает время. Проходили неделя за неделей и каждая из них уносила с собой частичку ее острого горя, пока, наконец, оно не смягчилось до той тихой печали, которая дорога и священна всякому чувствительному сердцу.

Между тем здоровье Сент-Обера видимо слабело, хотя для Эмилии, постоянно находившейся при нем, это было менее заметно, чем для посторонних. Организм его никогда не мог оправиться после перенесенной горячки; а вслед за тем жестокая утрата жены вконец подкосила его здоровье. Доктор посоветовал ему предпринять путешествие: ясно, что горе расстроило его нервную систему, уже ранее ослабленную болезнью. Надо было надеяться, что разнообразие местоположения, развлекая его ум, приведет его нервы в надлежащее состояние. Решили ехать.

Несколько дней подряд Эмилия была занята сборами в дорогу; Сент-Обер тем временем делал распоряжения, чтобы всячески сократить расходы по дому на время его путешествия – для этого он первым делом распустил почти всех слуг.

Эмилия редко вмешивалась в распоряжения отца, а то она посоветовала бы ему взять с собою слугу, так как это необходимо при его болезненном состоянии. Но когда, накануне отъезда, она узнала, что он уже отпустил Жака, Франсуа и Марию, она чрезвычайно удивилась и решила спросить его, зачем он это сделал?

– Затем, душа моя, чтобы сократить расходы, – отвечал отец, – и так наше путешествие обойдется не дешево.

Доктор прописал ему воздух Лангедока и Прованса; и вот Сент-Обер решил проехать не спеша по берегу Средиземного моря, направляясь в Прованс.

Вечером, накануне отъезда, они рано разошлись по своим комнатам, но Эмилии надо было собрать кое-какие книги и вещицы; часы пробили двенадцать прежде, чем она окончила свои сборы, и тогда только она вспомнила, что ее рисовальные принадлежности, которые она намеревалась непременно взять с собой, остались в гостиной внизу. Идя за ними, она прошла мимо спальни отца и, заметив, что дверь полуотворена, заключила, что он сам, вероятно, в кабинете; после смерти госпожи Сент-Обер у него вошло в привычку вставать ночью с постели и уходить в кабинет, чтобы чтением успокоить свои расхолодившиеся нервы.

Спустившись вниз, Эмилия заглянула в кабинет, но отца там не оказалось; возвращаясь к себе, она постучалась в дверь его спальни и, не получив ответа, тихонько вошла, чтобы удостовериться, где он.

В спальне было темно, но виднелся свет сквозь стекла верхней части двери, ведущей в смежную каморку.

Эмилия подумала, что отец ее, наверное, там, и ввиду позднего часа у нее явилось подозрение, здоров ли он? Но, сообразив, что ее внезапное появление в такую пору может встревожить отца, она оставила свою свечу на лестнице, а сама беззвучно подошла к двери чулана.

Заглянув сквозь стекло внутрь, она увидела, что Сент-Обер сидел за небольшим столиком, заваленным бумагами, и что-то читал с глубоким сосредоточенным вниманием, причем изредка вздыхал и всхлипывал.

Эмилия, подошедшая к двери с намерением узнать, не захворал ли отец, теперь, при виде его слез, остановилась, повинувшись смешанному чувству любопытства и жалости. Она не могла видеть его печали, не чувствуя желаний узнать ее причины, и продолжала молча наблюдать его, предполагая, что эти бумаги – письма ее покойной матери.

Вдруг он опустил на колени; глаза его приняли какое-то торжественное, не свойственное ему выражение с примесью ужаса, и долго молча молился.

Когда он поднялся, по лицу его была разлита страшная бледность. Эмилия хотела поспешно удалиться; но остановилась, заметив, что он опять вернулся к кипе бумаг и вытащил оттуда плоский футляр, с миниатюрным портретом. На него падал яркий свет, и Эмилия убедилась, что это изображение какой-то дамы, но не ее матери.

Сент-Обер долго с нежностью рассматривал портрет, поднес его к губам, потом прижал к сердцу и судорожно вздохнул.

Эмилия не верила глазам своим. До сих пор она не подозревала, чтобы у отца хранился портрет какой-то чужой дамы, не ее матери, а тем более портрет, который он, очевидно, ценил так высоко.

Наконец Сент-Обер вложил портрет обратно в футляр, а Эмилия, вспомнив, что она невольно подглядела его тайну, тихонько вышла из комнаты.

Глава 3

*Возможно ль отказаться от бесценного сокровища
Тех наслаждений, какие дарует природа поклонникам своим?
Песни звонкие пернатых в чаще леса, и берега реки,
И пышность рощ, убор полей цветущих,
И все, что солнца луч поутру похищает,
И все, что вторит вечером напевам пастуха,
И все, что защищает каменная грудь горы,
И грозное величие небес...
О, можешь ли ты это презирать и ждать себе прощенья?
Все эти прелести дадут душе твоей навеки исцеленье.
Дадут ей кротость, и любовь, и радость.*

Менестрель

Сент-Обер, вместо того, чтобы ехать прямой дорогой, пролежавшей у подножия Пиренеев к Лангедоку, выбрал другую дорогу, которая, извиваясь в горах, отличалась большей живописностью и романтической красотой. Он уклонился немного в сторону, желая проститься с господином Барро; он застал его ботанизирующим в лесу неподалеку от замка; узнав о цели посещения Сент-Обера, Барро выказал такое теплое участие, какого тот даже не ожидал от этого, по-видимому, черствого человека.

– Если бы что-нибудь могло соблазнить меня покинуть мое уединение, – сказал господин Барро, – то это именно удовольствие сопровождать вас в вашем маленьком путешествии. Я не охотник до комплиментов, поэтому вы должны поверить мне на слово, когда я говорю, что буду ждать вашего возвращения с нетерпением.

Путешественники отправились далее.

На протяжении нескольких лье он и Эмилия ехали в молчании и задумчивости; Эмилия первая очнулась от грустных дум и ее юная фантазия, пораженная величием окружающей природы, постепенно поддалась прелести впечатлений. Дорога то спускалась вниз в долины, окаймленные огромными стенами скал, серых и оголенных, где лишь местами на вершинах кудрявился кустарник, или росла в углублениях скудная травка, которую щипали дикие козы; то опять карабкалась на высокие скалы, откуда открывались роскошные виды.

Эмилия не могла удержаться от восторга, когда взор ее поверх сосновых лесов, покрывавших горы, остановился на обширной равнине, пестревшей рощами, городами, алеющими виноградниками и плантациями миндаля, пальм и оливковых деревьев, – равнина расстилалась на необъятное пространство, пока ее яркие краски не сливались вдали в однообразный гармоничный тон, казалось, соединявший небо с землей. И по всей этой роскошной местности протекала величавая Гаронна, спускаясь от истоков своих в Пиренеях и катя свои голубые воды к Бискайскому заливу.

Плохая, ухабистая дорога часто заставляла путников выходить из дорожного экипажа; но за такое неудобство их с избытком вознаграждало величие и красота окружающих картин. Но все же наслаждение, испытываемое Сент-Обером, было с примесью меланхолии, которая придает вещам более мягкий колорит и распространяет на все окружающее кроткую прелесть.

Путешественники предвидели, что не везде им встретятся удобные гостиницы, и потому забрали с собой запас провизии, так что могли останавливаться и закусывать в любом красивом местечке под открытым небом и располагаться на ночлег всюду, где встречали на своем пути подходящую хижину. Что касается пищи духовной, то они взяли с собой сочинение о ботанике, написанное господином Барро, и несколько книг с латинскими и итальянскими стихами; а Эмилия рисовала в альбом виды и предметы, поражавшие ее на каждом шагу.

Пустынность дороги, где лишь изредка встречались то какой-нибудь поселянин, погоняющий мула, то дети горцев, играющие между скал, – еще усиливала очарование ландшафта. Сент-Обер был в таком восторге от живописности этих мест, что решил, если узнает, что туда есть дорога, проникнуть далее в горы, потом повернуть к югу в Руссильон, наконец проехать прибрежной полосой Средиземного моря и таким путем пробраться в Лангедок.

Вскоре после полудня путники достигли вершины горы, покрытой роскошной растительностью; оттуда, как на ладони, открывался вид на части Гаскони и Лангедока. Высокие деревья давали прохладную тень; была тут и свежая вода родника, который, скользя по мураве под деревьями, низвергался оттуда по ступеням скал в пропасть, где его журчание пропадало, хотя белая пена долго еще виднелась среди мрачной зелени сосен.

Это было местечко, удобное для отдыха. Путешественники расположились обедать, мулов выпрягли и пустили щипать сочную траву, устилавшую плоскогорье.

Эмилия и Сент-Обер долго не могли оторваться от прелестного вида, чтобы приняться за свою легкую трапезу. Сидя под тенью пальм, Сент-Обер объяснял течение рек, положение больших городов, показывал границы провинции, руководствуясь не столько зрением, сколько своими знаниями. Но вдруг среди беседы он остановился и задумался; на глазах его блеснули слезы. Эмилия заметила это, и сочувствующее сердце подсказало ей причину этой грусти. Картина, раскинувшаяся перед ними, представляла сходство, хотя в более грандиозном масштабе, с любимым видом госпожи Сент-Обер, открывавшимся из окрестностей рыбацкого домика. Оба это поняли сразу и подумали, как понравился бы этот прелестный ландшафт той, чьи глаза закрылись навеки! Сент-Обер вспомнил, как он в последний раз посетил вместе с нею рыбацью хижину, вспомнил печальные предчувствия, посетившие его в то время, – предчувствия, увы! так скоро сбывшиеся. Эти воспоминания так взволновали его, что он встал и отошел в сторону, желая скрыть свое горе от дочери.

Когда он вернулся, лицо его было по-прежнему спокойно; он взял руку Эмилии и молча с нежностью пожал ее. Вскоре он подозвал погонщика мулов Михаила, сидевшего поодаль, и стал расспрашивать его насчет горной дороги, идущей в сторону Руссильона. Михаил объяснил, что таких дорог несколько, но он не знает, до каких мест они доходят и можно ли по ним ехать. Сент-Обер не хотел продолжать путь после заката солнца и осведомился, до какого селения они могут добраться к тому времени. Погонщик рассчитал, что они легко могут достигнуть селения Мато, лежавшего на их пути; но если избрать другую дорогу, спускавшуюся к югу, к Руссильону, то на этой дороге есть тоже деревушка, которой можно достигнуть до наступления вечера.

После некоторого колебания Сент-Обер решил остановиться на последнем маршруте. Михаил, окончив свой обед, запряг мулов, и они двинулись дальше, но скоро Михаил вдруг остановился и, слезши с козел, преклонил колена перед крестом, воздвигнутым на скале, нависшей над дорогой. Исполнив этот обряд благочестия, он шелкнул бичом и, невзирая на тяжелую дорогу и усилия своих бедных мулов (о которых он только что сокрушался), помчался в галоп по самому краю пропасти, до того крутой, что при одном взгляде вниз голова кружилась. Эмилия была испугана почти до обморока, а Сент-Обер, думая, что еще опаснее внезапно остановить возницу, решил сидеть смирно и довериться силе и рассудительности мулов, которые, по-видимому, в большей степени обладали этими качествами, чем их хозяин. Действительно, они благополучно доставили путешественников в долину и там остановились на берегу речки.

Путешественники очутились теперь в узкой долине, обрамленной утесами. Местность была оголенная и пустынная, кое-где лишь свешивались ветви лиственниц и кедров со скал и над речкой, орошающей долину. Кругом не видно было ни единого живого существа, – разве проползет ящерица между скал и повиснет на таком крутом обрыве, что смотреть на нее ужас берет, – совершенно картина в духе Сальватора Розы. Сент-Обер был поражен романтической

красотой этого уголка; ему казалось, что вот сейчас из-за скалы выскочат бандиты, и на всякий случай он держался рукой за оружие, всегда находившееся при нем в путешествиях.

По мере того, как они продвигались вперед, ущелье расширялось; дикий характер его смягчался, и к вечеру путешественники очутились уже среди холмистой, поросшей вереском местности, раскинувшейся на обширное пространство; вдали звенели колокольчики рассыпавшегося стада и слышался голос пастуха, сзывающего овец на ночлег. За исключением его хижины, осененной пробковыми дубами, – единственной, кроме сосен, древесной породы в этой горной области – кругом не видно было другого человеческого жилья. Долина была покрыта яркой, свежей зеленью; в небольших горных лощинах под тенью деревьев паслись стада, коровы и овцы отдыхали на берегах речки или купались в прохладных струях.

Солнце было близко к закату; последние лучи его отражались в воде и зажигали ярким желтым и алым пламенем вереск, устилавший горы. Сент-Обер осведомился у Михаила, далеко ли еще до деревушки, о которой он говорил, но тот не мог определить наверное, и Эмилия стала опасаться – не сбился ли он с дороги. Кругом не было ни единого человеческого существа, которое бы могло помочь им и направить их; пастуха и его хижину они оставили далеко позади. Между тем наступили сумерки; глаз ничего не мог различить вдали и отыскать следов жилья или селения. Алая полоса на горизонте все еще отмечала запад, и это служило путешественникам хоть слабым указанием. Михаил старался поддерживать в них бодрость духа своим пением – однако его музыка была не такого сорта, чтобы рассеять меланхолию: он тянул какой-то унылый мотив, наводивший тоску, – оказалось, это был вечерний гимн архангелу Михаилу.

Они ехали все дальше и дальше, объятые той тихой грустью, какую всегда навеивает уединение и сумерки. Михаил кончил свою песню, и все замолкло, только слышался шепот сонного ветерка в листве. Вдруг раздался выстрел. Сент-Обер приказал вознице остановиться и стал прислушиваться. Звук не повторился; но в кустах что-то зашелестело. Сент-Обер приготовил пистолет и приказал Михаилу прибавить шагу. Вслед затем послышался звук рога, пробудивший эхо в долине. Сент-Обер выглянул в окно кареты и увидел молодого человека, выскочившего из кустов на дорогу, в сопровождении двух собак. Незнакомец был в охотничьем костюме, с ружьем на перевязи; на его поясе висел рог, а в руках он держал копьё, придававшее еще больше мужественной грации его фигуре и удалства его движениям.

После минутного колебания Сент-Обер опять велел остановить карету и стал ждать, чтобы незнакомец подошел, в расчете расспросить его о деревушке, которую они искали. Молодой человек объяснил, что она лежит в полумиле, что он сам туда направляется и охотно укажет дорогу. Сент-Обер поблагодарил за услугу; ему понравился рыцарский вид и открытое лицо юноши, – он предложил ему занять место в экипаже; но тот отказался, говоря, что он и пешком не отстанет от мулов.

– Но я боюсь, что вы не найдете удобного помещения в деревушке, – заметил он, – обитатели этих гор – люди простые, не только не знакомые с комфортом, но почти лишенные самого необходимого.

– Я вижу, что вы сами не принадлежите к числу этих обитателей, – сказал Сент-Обер.

– Нет, я тоже путешествую по здешнему краю.

Экипаж покатило дальше; сумрак еще стуслился, и путешественники были очень рады заполучить проводника; частые овраги, попадавшиеся среди гор, конечно, усугубляли их беспокойство. Эмилия увидела в отдалении что-то похожее на светлое облако, повисшее в воздухе.

– Что это за свет там? – спросила она.

Сент-Обер взглянул в том же направлении и убедился, что это покрытая снегом вершина самой высокой горы, на которой еще горел отблеск солнечных лучей, между тем как все окружающее погрузилось во мрак.

Наконец замелькали в сумерках огоньки и вскоре показались хижины деревушки, или, вернее, их отражения в речке, на берегу которой была расположена деревня и которая еще светилась лучами заката.

Незнакомец подошел к нашим путешественникам. Из дальнейших расспросов Сент-Обер узнал, что в деревне не только нет постоянного двора, но нет и трактира, куда можно было бы пристать. Сент-Обер поблагодарил за сведения и выразил желание выйти из экипажа и пройти пешком до деревни. Эмилия продолжала ехать шагом.

По пути Сент-Обер спросил незнакомца, удачна ли была его охота.

– Не особенно, – отвечал он, – да я и не тужу об этом: мне нравится этот край и я намерен побродить здесь несколько недель; собак я взял с собой более в качестве спутников, чем для охоты. Этот костюм служит мне как бы вывеской и доставляет мне от жителей то уважение, которого я не получил бы как странник, без всякой цели забравшийся в их край.

– Я одобряю ваш вкус, – сказал Сент-Обер, – и будь я помоложе, мне очень нравилось бы провести таким образом неделю-другую. Но теперь мой план и цели совсем иные. Я путешествую настолько же для здоровья, как и для развлечения.

Сент-Обер вздохнул и остановился; затем, как бы одумавшись, продолжал:

– Если я узнаю, что отсюда есть порядочная дорога в Руссильон, я намерен поехать туда, потом по берегу моря пробраться в Лангедок. Вы, сударь, по-видимому, знакомы с краем и, вероятно, можете дать мне указания на этот счет?

Незнакомец изъявил готовность сообщить все, что сам знает, и упомянул о дороге, пролегающей несколько более к востоку и ведущей к городу, откуда легко будет проехать в Руссильон.

Путешественники, наконец, добрались до деревни и принялись разыскивать помещение, где можно было бы расположиться на ночлег. В тех лачугах, куда они заходили, царил нищета и грязь; хозяева глазели на приезжих с любопытством и робостью. Нигде нельзя было найти и подобия постели; Сент-Обер, отчаявшись, перестал искать ночлега; тогда вмешалась Эмилия: она заметила измученное лицо отца и жалела, что они забрались в такой край, где нельзя было найти спокойного убежища для больного человека. Осмотрели и другие хижины; эти оказались немного лучше первых, состояли из двух комнат – если можно назвать это комнатами: в одной загородке помещались мулы и свиньи, в другой семейства, состоявшие в большинстве случаев из шести-восьми детей с их родителями, – все это спало на подстилках из шкур и сухих листьев. Здесь было уже посветлее, дым выходил наружу сквозь отверстие в крыше; здесь слышался довольно явственно запах спирта, так как бродячие контрабандисты, посещавшие Пиренеи, приучили народ к крепким напиткам.

Эмили стало противно; она поглядывала на отца с тревожной нежностью, что, очевидно, подметил молодой незнакомец; отведя Сент-Обера в сторону, он предложил уступить ему свою собственную спальню.

– Она довольно прилична, – сказал он, – в сравнении с тем, что мы только что видели, хотя при других обстоятельствах я бы посоветился предлагать вам такое помещение.

Сент-Обер поблагодарил за любезность, но пробовал отказываться до тех пор, пока молодой незнакомец не убедил его своей настойчивостью.

– Мне будет невыносимо сознавать, что вы, человек больной, лежите на жестких шкурах, тогда как я сплю на постели. Кроме того, ваш отказ оскорбляет мою гордость; я могу подумать, что вы не хотите снизить до принятия моего предложения. Пойдемте, я покажу вам дорогу. Я не сомневаюсь, что моя хозяйка найдет возможность поместить также и вашу барышню.

Сент-Обер наконец согласился; хотя его немного удивил недостаток галантности у этого молодого человека, который заботился о спокойствии больного человека, а не об удобствах привлекательной молодой девушки – ведь он ни разу не предложил уступить свою комнату

Эмилии. Но Эмилия о себе не думала, и радостная улыбка, с которой она взглянула на незнакомца, доказала ему, до какой степени она рада и благодарна за отца.

Валанкур, так звали молодого незнакомца, пошел вперед, чтобы предупредить свою хозяйку; та вышла встретить Сент-Обера и пригласила его в свою избу, несравненно более приятную, чем все жилища, виденные ими раньше. Добрая женщина, по-видимому, очень рада была услужить приезжим; она охотно уступила им те две постели, которые имелись в доме. По части пищи в избе ничего не оказалось, кроме молока и яиц; но на подобные случаи Сент-Обер захватил с собой достаточно продовольствия; он пригласил Валанкура разделить ужин. Их приглашение было охотно принято, и все трое провели целый вечер в приятной, интересной беседе. Сент-Оберу очень понравились открытый нрав и мужественная простота его нового знакомого, а также отзывчивость его к величию и красотам природы. Он не раз видал в жизни, что такая чуткость всегда связана с искренностью и величием души.

Их беседа была прервана сильным шумом, поднявшимся во дворе, причем голос погонщика мулов слышался громче всех прочих. Валанкур вскочил и пошел узнавать, в чем дело; но и после его ухода крики и ссора продолжались. Наконец Сент-Обер пошел сам и застал Михаила в жестокой перепалке с хозяйкой за то, что та отказалась пустить его мулов в ту каморку, где она должна была ночевать сама вместе со своими тремя сыновьями. Помещение было самое жалкое, но иначе этим людям некуда было деваться; и с щепетильностью, не совсем обыкновенной среди уроженцев захолустья, женщина упорно не позволяла ставить животных в комнату, где должны были ночевать ее дети. Погонщик мулов вломился в амбицию: он нахмурился от оскорбительности для своей чести, что к его мулам отнеслись с неуважением – он, кажется, охотнее дал бы самого себя приколотить.

– Мои мулы кротки и безобидны как овечки, – говорил он, – если с ними хорошо обращаются. Я никогда не видывал, чтобы они в чем провинились, кроме двух-трех случаев, когда их действительно раздражили. Один разок только один из мулов лягнул в ногу мальчишку, спавшего у них в стойле, и сломал ему ногу. Клянусь святым Антонием, они, кажется, поняли мои упреки и уже больше этого никогда не случалось.

В заключение этой красноречивой защиты он объявил, что ни за что не расстанется со своими мулами.

Спор, наконец, был улажен Валанкуром; он отвел хозяйку в сторону и просил, чтобы она предоставила погонщику с его мулами спорный сарай, а сыновьям своим отдала постель из шкур, приготовленную ему, Валанкуру, тогда как он сам завернется в плащ и уляжется на скамейке у дверей хижины. На это хозяйка считала своим долгом не соглашаться – ей не хотелось уступать погонщику. Но Валанкур упорно стоял на своем, и неприятное дело наконец покончили.

Было уже поздно, когда Сент-Обер и Эмилия удалились в свои спальни, а Валанкур на свой пост у дверей, что при теплой погоде он предпочитал душному чулану и постели из кож. Сент-Обер был несколько удивлен, увидев в его комнате несколько томов Гомера, Горация и Петрарки с фамилией Валанкура, написанной на заглавных листах.

Глава 4

*Он странный был, капризный человек,
Его пленяли наравне и мирные картины и те, что наводили ужас.
Во тьме и буре находил он наслажденье
Не менее, чем в тех минутах, когда солнце
Ярко золотит прозрачную волну,
И даже грустные превратности судьбы порою тешат его душу,
А если иногда раздастся вздох,
И по щеке его скатится жалости слеза,
Такого сладостного вздоха,
такой слезы отрадной он не желает подавлять.*

Менестрель

Сент-Обер проснулся очень рано, освеженный сном, и пожелал тотчас же отправиться в дальнейший путь. Он пригласил своего нового знакомого позавтракать вместе; заговорив опять о дороге, Валанкур сказал, что несколько месяцев тому назад он доезжал до Боже, довольно значительного города на пути в Руссильон, и советовал Сент-Оберу избрать этот маршрут. Сент-Обер решил последовать совету.

– Дорога из этой деревушки, – объяснил Валанкур, – и дорога в Боже расходятся на расстоянии полутора миль отсюда; если позволите, я провожу вашего погонщика до того места; ваше общество сделает для меня эту прогулку приятнее всякой другой.

Сент-Обер с благодарностью принял предложение, и они отправились вместе; молодой человек шел пешком, – он отказался занять место в тесном дорожном экипаже.

Предрасветная мгла, смягчавшая предметы своим мутным, серым колоритом, стала понемногу рассеиваться, и Эмилия с интересом наблюдала зарождение дня: сначала затрепетал свет на вершинах самых высоких скал, затем они запылали роскошным сиянием, тогда как их склоны и долина внизу все еще были окутаны росистым туманом. Между тем мрачные серые тучи на востоке стали алеть, потом они загорелись огнями разнообразнейших оттенков и, наконец, золотистый свет разлился по воздуху, коснулся нижних частей горных вершин и длинными косыми лучами скользнул в долину и по реке. Вся природа, казалось, пробудилась от смерти к жизни. Душа Сент-Обера как бы обновилась; от полноты сердца он прослезился, и помыслы его вознеслись к Создателю.

Эмилия пожелала пройтись по траве, такой свежей и блестящей от росы, и вполне наслаждаться тем привольем, каким, по-видимому, наслаждалась и ящерица, бегавшая по краям скал. Валанкур часто останавливался, разговаривая с путешественниками и указывая им то, что особенно привлекало его внимание на пути.

Он очень нравился Сент-Оберу. «Вот образец сердечной искренности и юношеской энергии, – думал он про себя. – Этот молодой человек, наверное, никогда не бывал в Париже».

Ему было от души жаль, когда достигли того пункта, где дороги расходились; за это короткое время он успел привязаться к своему спутнику.

Валанкур долго беседовал с ними, стоя у экипажа; несколько раз он собирался отойти, но все мешкал и как будто искал тем для разговора, чтобы объяснить свое промедление.

Сент-Обер заметил, что, уходя, он бросил на Эмилию выразительный, задумчивый взгляд; она поклонилась ему со скромной приветливостью, и экипаж отъехал. Сент-Обер, через некоторое время выглянув из окна, увидел Валанкура стоящим на краю дороги: он опирался на копь скрещенными руками и грустным взором следил за удаляющейся каретой. Сент-Обер махнул рукой в знак приветия; Валанкур, как бы пробудившись от грез, ответил на приветствие и пошел обратно.

Характер местности стал понемногу изменяться; путешественники скоро очутились среди гор, покрытых от подошвы и почти до вершин лесами мрачных сосен; кое-где лишь выделялся какой-нибудь гранитный пик со снеговой вершиной, теряющейся в облаках. Речка, берегов которой они до сих пор держались, расширилась в большую реку, отражавшую в своих глубоких, тихих водах темные нависшие тени.

Местами какой-нибудь утес вздымал свою смелую голову над лесом и облаками, носившимися на полугоре; местами у самого края воды возвышалась отвесная каменная стена, а над нею лиственница простирала свои гигантские руки, обожженные молнией или покрытые роскошной листвой.

Путешественники продолжали ехать по ухабистой, пустынной дороге, никого не встречая, кроме разве одинокого пастуха со своей собакой, бредущих по долине; они не слышали иных звуков, кроме шума потоков, скрытых в лесу, протяжного, угрюмого ропота бриза, да порою криков орла и ястреба, парящих над скалами.

Часто, в то время как экипаж медленно катился по изрытой дороге, Сент-Обер выходил из него и шел пешком, собирая, ради развлечения, интересные растения по краям дороги; а Эмилия с восторгом гуляла под сенью деревьев, молча прислушиваясь к глухому шепоту леса.

На расстоянии многих миль не видно было ни селения, ни деревушки: шалаши пастуха или охотника, высоко взгроможденные на скалах, были единственными людскими жилищами, встречавшимися по пути.

Путешественники обедали опять на открытом воздухе, в живописном местечке долины, под широкой тенью кедров; затем двинулись далее, в Боже.

Дорога стала круто подниматься и, выйдя из соснового леса, извивалась меж скалистых пропастей. Снова наступили сумерки, а наши путники не знали, далеко ли еще до Боже.

Впрочем, Сент-Обер догадывался, что расстояние не должно быть очень велико, и утешался тем, что выберет более людную дорогу, когда они выедут из города, где намеревались ночевать.

В сумраке смутно выделялись леса смешанных древесных пород, скалы и горы, покрытые вереском; но скоро и эти смутные очертания исчезли в потемках.

Михаил ехал осторожно, потому что почти не мог различать дороги: но его мулы, более чуткие, шли уверенным шагом.

Обогнув встретившуюся на пути гору, они увидели вдали какой-то свет, озарявший скалы и горизонт на далекое расстояние. Трудно было определить, что это такое – большой костер или пожар. Сент-Обер предполагал, что это костер, разложенный одной из многочисленных разбойничьих шаяк, водившихся в Пиренеях; его беспокоила мысль, не придется ли им проезжать поблизости от костра. При нем было оружие, которое, в случае надобности, могло доставить защиту, хотя, конечно, слабую перед целой шайкой бандитов, в особенности таких отчаянных, как те, что водились в этом захолустье. В то время, как его осаждали эти тревожные думы, он услышал чей-то крик, раздавшийся сзади экипажа: кто-то приказывал погонщику мулов остановиться. Сент-Обер со своей стороны понукал его, чтобы он ехал как можно быстрее; однако или Михаил заартачился, или его мулы не слушались, но они не прибавляли шагу. Ближе и ближе слышался лошадиный топот; к экипажу подскочил какой-то человек, повторяя вознице приказание остановиться; Сент-Обер, уже не сомневавшийся в его недобрых намерениях, едва успел выхватить пистолет для защиты, как уже рука незнакомца легла на дверцу кареты. Раздался выстрел... человек пошатнулся на седле; за выстрелом послышался стон. Легко себе представить ужас Сент-Обера, когда в эту минуту он услышал слабый голос, показавшийся ему голосом Валанкура. Теперь он сам приказал вознице остановиться; позвал Валанкура по имени и получил ответ, подтвердивший его подозрения. Сент-Обер немедленно выскочил из экипажа, поспешил на помощь к раненому и увидел его сидящим на лошади, но истекающим кровью; по-видимому, он сильно страдал, хотя и старался успокоить Сент-Обера,

говоря, что он ранен незначительно в руку. Сент-Обер с погонщиком мулов помогли ему сойти с лошади и усадили на край дороги. Сент-Обер пытался наложить перевязку, но руки его так сильно дрожали, что это ему не удавалось. Так как Михаил побежал вдогонку за лошастью, которая ускакала, освободившись от своего всадника, то Сент-Обер позвал к себе на помощь Эмилию. Не получая ответа, он бросился к карете и нашел дочь свою лежащей на сиденье в обмороке. Встревоженный этим, а с другой стороны боясь, как бы Валанкур не истек кровью, Сент-Обер совершенно растерялся. Однако он стал приводить Эмилию в чувство и крикнул Михаилу, чтобы тот зачерпнул воды из речки. Но Михаил ушел за лошастью и не отзывался. Валанкур, слыша эти крики и несколько раз повторяемое имя Эмилии, догадался, в чем дело. Забыв о своем собственном положении, он поспешил на помощь. Эмилия уже почти пришла в себя, когда он подбежал к карете. Поняв, что тревога за него заставила ее лишиться чувств, Валанкур стал уверять ее радостно взволнованным голосом, что рана его не серьезна. Пока он успокаивал ее, Сент-Обер обернулся к нему и, увидав, что кровотечение продолжается, опять встревожился и наскоро стал рвать носовые платки на перевязку. Это остановило кровь. Сент-Обер, опасаясь за последствия раны, с беспокойством осведомился, далеко ли осталось до города Боже. Но, даже узнав, что город отстоит всего на две мили, он не успокоился; ему казалось, что Валанкуру трудно будет вынести толчки экипажа в его теперешнем состоянии; действительно, раненый очень ослабел от потери крови, хотя сам все время уверял, что это пустяки. Михаил, уже вернувшийся с лошастью Валанкура, помог ему сесть в экипаж. Эмилия тем временем успела совершенно оправиться, и они шагом двинулись в Боже.

Немного успокоенный, Сент-Обер стал спрашивать Валанкура, какими судьбами он попал сюда.

– Встреча с вами, – сказал Валанкур, – опять приохотила меня к обществу; после вашего отъезда деревня показалась мне мрачной пустыней, я решил уехать и направился по этой дороге, зная, что она приведет меня в красивую горную местность. А, кроме того, – прибавил он не без смущения, – признаться сказать, у меня была некоторая надежда нагнать вас.

– Хорошо же я отплатил вам за вашу любезность! – сказал Сент-Обер, сожалея о своей опрометчивости.

Но Валанкуру более всего хотелось изгладить в своих спутниках неприятное впечатление, связанное с несчастным случаем. И хотя он мучился от сильной боли, но старался разговаривать весело. Эмилия была молчалива и только отвечала изредка Валанкуру. Когда он обращался к ней, голос его вздрагивал, и по его волнению можно было догадаться о его чувствах.

Теперь они уже настолько приблизились к огню, давно выделявшемуся в сумраке ночи, что могли различать движущиеся вокруг него фигуры. Это был один из многочисленных цыганских таборов, которые в то время кочевали в Пиренеях и грабили проезжих. Эмилия с ужасом смотрела на страшные лица этих людей при красноватом свете костра, который еще усиливал романтический эффект сцены; пламя, бросая слабый отблеск на скалы и деревья, оставляло остальное пространство в тени, и взор, казалось, страшился проникнуть сквозь эти густые массы мрака. Цыгане варили себе ужин: над огнем висел большой котел, и вокруг него суетилось несколько фигур. При свете пламени можно было различить нечто вроде грубого шатра; рядом копошилось множество ребятишек и собак; все это вместе представляло картину до крайности фантастическую. Путешественники поняли угрожающую им опасность. Валанкур молчал, но держал наготове один из пистолетов Сент-Обера. Сент-Обер вооружился другим пистолетом, а Михаилу отдал приказание погонять мулов. Но они благополучно миновали табор; бродяги, очевидно, не готовились нападать и, слишком занятые своим ужином, в эту минуту мало интересовались проезжими.

Мили через полторы путники добрались, наконец, до города Боже и подъехали к единственной в нем гостинице, довольно плохой, хотя и получше тех, которые они встречали перед тем в горах.

Послали за городским лекарем, если можно назвать лекарем фельдшера, лечившего и скот и людей, исполнявшего должность и костоправа, и цирюльника. Осмотрев руку Валанкура и убедившись, что пуля прошла сквозь мякоть, не задев кости, он перевязал рану и удалился с важностью, предписав пациенту полную неподвижность, чего пациент вовсе не намерен был соблюдать. Боль сменилась отрадным чувством покоя, а покой является благом положительным, по контрасту с мучительной болью. После перевязки больной воспрянул духом и пожелал посидеть с Сент-Обером и Эмилией, которые, избавившись от стольких тревог, были необыкновенно оживлены. Несмотря на поздний час, Сент-Обер отправился с хозяином покупать провизию на ужин, а Эмилия, которая в это время нарочно отлучалась под предлогом осмотра своего помещения, оказавшегося лучше, чем она ожидала, принуждена была вернуться и беседовать с Валанкуром наедине. Они говорили о живописности края, об его естественных богатствах, о поэзии, о Сент-Обере – на эту последнюю тему Эмилия всегда готова была и говорить и слушать с особенным удовольствием.

Путешественники провели вечер чрезвычайно приятно; но Сент-Обер был утомлен дорогой, а Валанкур опять почувствовал приступ боли, и они разошлись вскоре после ужина.

Утром Сент-Обер узнал, что Валанкур провел ночь беспокойно, что у него началась лихорадка и рана причиняет ему сильные страдания; лекарь, снова сделавший перевязку, посоветовал ему спокойно пожить в Боже. Но Сент-Обер, не очень доверявший этому эскулапу, желал доставить Валанкуру более искусную медицинскую помощь; однако, наведя справки и узнав, что на расстоянии нескольких миль нет другого города, где бы можно было найти сведущего врача, он изменил план своего путешествия и решился дожидаться, пока Валанкур поправится, хотя тот и протестовал с большей церемонностью, чем искренностью, против такого промедления. По приказанию врача Валанкур не выходил в этот день; но Сент-Обер и Эмилия с наслаждением осматривали окрестности красивого городка, расположенного у подошвы Пиренейских Альп; горы то вздымались отвесными кручами, то отлого тянулись вдаль, покрытые почти до вершин лесами из кипарисов, сосен и кедров. Веселая зелень бука и рябины выступала яркими пятнами среди темной хвои; кое-где в лесу, сверкая и шумя, низвергался с высоты поток.

Нездоровье Валанкура задержало путешественников на несколько дней в городе Боже; за это время Сент-Обер, со свойственной ему наблюдательностью, успел изучить характер и склонности молодого человека. Он убедился, что это натура открытая и великодушная, полная энергии, в высшей степени чуткая ко всему великому и прекрасному, но пылкая, увлекающаяся и несколько романтическая. Взгляды его были определены, чувства стойки; возмущаясь каким-нибудь дурным поступком или восхищаясь делом благородным, он выражался с одинаковой горячностью. Сент-Обер часто посмеивался над его пылом и не останавливал его порывов. «Этот юноша никогда не бывал в Париже!» – думал он про себя со вздохом. Сент-Обер решил не покидать Валанкура до тех пор, пока тот не поправится окончательно; а так как теперь рана начала уже заживать и он мог путешествовать, но не верхом, то Сент-Обер пригласил его пока ехать с ними в экипаже. Предложение это было сделано тем охотнее, что Валанкур, как выяснилось из разговоров, принадлежал к очень почтенной семье, родом из Гаскони. Валанкур с радостью согласился, и вот они снова пустились в путь по дикой, романтической местности, направляясь в Руссильон.

Ехали они не спеша, останавливаясь всюду, где только представлялся вид особенно заманчивый или величественный; часто они выходили из кареты, чтобы взобраться на какую-нибудь возвышенность, недоступную для мулов, но откуда открывался великолепный вид; часто гуляли они по чудным холмам, поросшим лавандой, тимьяном, тамариском и можжевельником, или под тенью лесов любовались сквозь лесные прогалины далекой перспективой волшебной красоты.

Иногда Сент-Обер занимался ботаникой в то время, как Эмилия с Валанкуром уходили вперед; молодой человек указывал ей на все, что особенно восхищало его, и читал на память целые стихотворения из итальянских и латинских поэтов, более всего нравившихся ей. В промежутках разговора, думая, что она этого не замечает, он устремлял задумчивый взор на ее лицо, так живо отражавшее движения ее души; и когда опять заговаривал, в тоне его голоса сквозила особенная нежность, – как он ни старался скрыть свое чувство. Мало-помалу такие паузы повторялись все чаще и чаще; но Эмилия боялась их; по натуре сдержанная, она теперь сама готова была говорить без умолку о лесах, долинах, горах, лишь бы только избегнуть опасности молчания. От самого города дорога шла все в гору, увлекая путешественников в высшие области атмосферы, где царили громадные ледники и белели вечные снега на вершинах гор. Путники часто останавливались и любовались этими величественными зрелищами; сидя на каком-нибудь диком утесе, где могли расти только каменный дуб да лиственница, глядели поверх темных хвойных лесов и пропастей, где не ступала нога человеческая, вниз в долину, лежащую до того низко, что громовой шум потока, пенящегося на дне, доносился до них слабым шепотом. Над этими утесами торчали другие, страшной вышины и самых фантастических очертаний: иные имели вид конусов, другие нависли над своим основанием огромными глыбами гранита, на краях которых лежали пласты снега, трепетавшие при малейшем звуке, грозя низринуться вниз в долину, все разрушая по пути. Кругом, со всех сторон, открывались поразительные виды – длинная перспектива горных вершин, подернутых голубоватой дымкой, или белых от снега; ледники и леса мрачной хвои.

Чистота и прозрачность воздуха в этих областях приводили путешественников в восторг; казалось, этот воздух очищал их душу и разливал в ней неопишемую отраду. Они не находили слов, чтобы выразить всю прелесть этого ощущения. У Сент-Обера часто навертывались на глаза слезы, и он отходил от своих спутников. Валанкур от времени до времени заговаривал с Эмилией и указывал ей на ту или другую подробность картины. Разреженность атмосферы, сквозь которую каждый предмет так отчетливо обрисовывался, восхищала ее и вводила в заблуждение, – ей не верилось, что предметы, казавшиеся так близко, в сущности, находятся на большом расстоянии от них. Глубокая тишина царила в этих областях и нарушалась по временам только криком ястребов, кружившихся над утесами, или криком орла, высоко парящего в облаках. Порою путники слышали глухие раскаты грома, грохотавшего у их ног, в то время как над ними яркое голубое небо не омрачалось ни единым облачком, на полугоре носились длинными валами испарения, как бы уединяя наших путешественников от мира, расстилавшегося внизу. Эмилия любила наблюдать эти облака, постоянно изменявшие свои очертания и оттенки. Проехав несколько миль по этой области, путешественники стали постепенно спускаться к Руссильону, где местность, уже другого характера, также отличалась красотой. Они не без сожаления оглядывались на пройденное пространство; теперь глаз, утомленный величием зрелищ, с отрадой отдыхал на светлой зелени рощ и пастбищ, раскинувшихся по берегам реки, на скромных хижинах под тенью кедров, на резвой толпе крестьянских ребятишек и на усеянных цветами лощинах меж холмов.

Спускаясь вниз, путники увидели в отдалении, направо, одно из больших пиренейских ущелий, ведущих в Испанию; оно сверкало своими зубцами и башнями при последних лучах заката; внизу виднелись желтоватые макушки лесов, а в отдалении сияли горные вершины, еще тронутые багрянцем.

Сент-Обер стал отыскивать глазами городок, к которому направили его жители Боже и где он намеревался остановиться на ночлег. Но пока не видно было никаких признаков жилья. Кроме той дороги, по которой они ехали, другой не было, так что насчет верности направления нельзя было сомневаться; с тех пор как они выехали из Боже, им не попадалось никаких побочных тропинок или перекрестных дорог, которые могли бы смутить их или ввести в заблуждение.

Солнце близилось к закату, и Сент-Обер торопил возницу, приказывая ему ехать как можно скорее. Он чувствовал снова приступ болезненной слабости и жаждал отдыха после дня, проведенного в дороге. Между тем вдаль показался какой-то длинный обоз, состоявший из вереницы нагруженных мулов, людей, лошадей; он тянулся по склону противоположной горы и то появлялся, то исчезал за лесом, так что численность его никак нельзя было определить. Что-то блестящее, вроде оружия сверкало в лучах заходящего солнца; мелькали военные доспехи на людях в авангарде, а также и среди обоза. Когда караван спустился в долину, из-за леса показался арьергард, и обнаружилось, что это отряд войска. Сент-Обер уже не сомневался, что это шайка контрабандистов, которые везли запрещенный товар через Пиренеи и по дороге были захвачены солдатами.

Путешественники так долго замешкались среди увлекательных и живописных гор, что ошиблись в своем расчете достигнуть Монтиньи на закате солнца; но, подвигаясь вперед по долине, они увидели на незатейливом мосту, перекинутом между двух высоких утесов, группу детей, которые бросали камни в поток, протекающий внизу, и наблюдали, как камень погружался в воду, вскидывая целый сноп белой пены и издавая глухой шум, которому вторило эхо в горах. Под мостом открывалась далекая перспектива долины, с водопадом, низвергающимся между скал, и хижинкой на утесе, осененной соснами. Судя по всему, отсюда недалеко было до какого-нибудь небольшого городка. Сент-Обер велел вознице остановиться и стал звать ребят-тишек, чтобы расспросить их, далеко ли до Монтиньи; но за расстоянием и ревом потока его голоса не было слышно, а кручи у моста были такой страшной высоты и так отвесны, что вскарабкаться на них было бы невозможно людям непривычным. Поэтому Сент-Обер не стал попустому терять времени. Они продолжали ехать еще долго после наступления сумерек; дорога была такая ухабистая, что, считая безопаснее идти пешком, все трое вышли из экипажа. Всплывал месяц, но свет его был слишком слаб, чтобы сослужить им службу. Осторожно пробираясь по дороге, они вдруг услышали звон к вечерне из какого-то монастыря. В сумерках нельзя было различить что-либо похожее на здание, но звуки, казалось, раздавались из леса, на высотах с правой стороны. Валанкур предложил пойти разыскивать монастырь.

– Если нас не пустят туда на ночлег, – сказал он, – то, по крайней мере, нам наверное объяснят, далеко ли до Монтиньи, и укажут дорогу.

Он поспешил уйти, не дожидаясь ответа Сент-Обера, но тот остановил его.

– Я очень устал и ничего так не желаю, как отдохнуть. Мы все вместе отправимся в монастырь. У вас такой цветущий вид, что вы можете поневоле испортить нам дело; но когда монахи увидят меня и измученное лицо Эмилии, то они едва ли откажутся приютить нас.

С этими словами Сент-Обер взял под руку Эмилию и, приказав Михаилу подождать немного на дороге, все трое стали взбираться в гору, направляясь по звону колокола. Сент-Обер двигался с трудом, Валанкур предложил поддерживать его. Луна слабо озаряла их путь; вскоре над макушками деревьев показались какие-то башенки. Продолжая идти по звону, они вошли в лес; лучи луны скользили между листвой и бросали дрожащий, неверный свет на крутую тропинку, по которой они взбирались. Мрак и тишина, царившие кругом, дикость окружающей местности производили жуткое впечатление на Эмилию. Валанкур старался ободрить ее разговором.

После довольно продолжительного подъема Сент-Обер стал жаловаться на усталость; пришлось остановиться отдыхать на маленьком зеленом пригорке, где деревья поредели и пропускали лунный свет. Сент-Обер сел на траву между Валанкуром и Эмилией. Звон колокола прекратился, и глубокая тишина уже не нарушалась ни малейшим звуком: глухой ропот далекого потока, можно сказать, не нарушал безмолвия, а делал его еще глубже. Перед их глазами расстилалась долина, по которой они, только что ехали: скалы и леса налево, чуть-чуть посе-ребренные луной, представляли контраст с мрачной тенью, бросаемой противоположными ска-

лами, лишь края которых были тронуты светом, а далекая перспектива долины вся утопала в желтоватом лунном тумане. Странники сидели некоторое время и наслаждались видом.

– Такие зрелища, – проговорил, наконец, Валанкур, – смягчают сердце, как звуки тихой музыки, и навевают чудную меланхолию, и кто хоть раз испытал это чувство, тот предпочтет его даже веселью. Эти зрелища пробуждают лучшие, самые чистые наши чувства, располагают нас к милосердию, сострадательности, дружбе. Кого я люблю, того люблю еще сильнее в такой час.

Голос его дрогнул, и он умолк. Сент-Обер молчал. Эмилия заметила теплую слезу, скатившуюся на ее руку, которую он держал в своей. Она знала, о чем он думает – в эту минуту ее помыслы тоже были полны воспоминанием о покойной матери. Он очнулся как бы с усилием.

– Да, – проговорил он с подавленным вздохом, – в такой час память о тех, кого мы любили – в былое, навеки минувшее время, – проносится в наших думах, как мелодия отдаленной музыки в тиши ночной – нежная и гармоничная, как этот пейзаж, дремлющий в лунном свете. – После небольшой паузы Сент-Обер прибавил: – Мне всегда казалось, что в такие минуты я мыслю с большей ясностью и проникательностью; как бесчувственно должно быть то сердце, которое не смягчается под влиянием подобных впечатлений! Ведь много есть таких людей на свете.

Валанкур вздохнул.

– Неужели в самом деле много? – спросила Эмилия.

– Пройдет еще несколько лет, моя Эмилия, – продолжал Сент-Обер, – и ты улыбнешься, вспомнив свой вопрос – если не заплачешь при этом воспоминании. Однако пора! Я отдохнул, идем дальше.

Выйдя из леса, они увидели перед собой на зеленом пригорке тот монастырь, который разыскивали, обнесенный высокой стеной; постучались в старинные ворота; отворивший им монах повел их в небольшую смежную сторожку, где просил их подождать, покуда он сходит доложить настоятелю.

Тем временем несколько иноков приходили поодиночке взглянуть на пришельцев; наконец вернулся первый монах, и они последовали за ним в приемную, где настоятель сидел в кресле перед аналоем, на котором лежал большой фолиант. Он принял посетителей приветливо, однако, не вставая с места, и после нескольких расспросов согласился приютить их.

Поговорив еще немного с настоятелем, путешественники удалились в комнату, где был накрыт ужин. А Валанкур, которого один из монахов любезно вызвался сопровождать, пошел разыскивать Михаила с его мулами. На полдороге вниз они уже услышали голос погонщика, повторяемый эхом.

Возница звал то Сент-Обера, то Валанкура. Валанкур, дойдя до кареты, объяснил ему, что нечего бояться ни за себя, ни за своего господина, и, устроив его на ночлег в хижине на опушке леса, сам вернулся разделить с друзьями скромную трапезу, предложенную монахами.

Сент-Обер чувствовал себя слишком нездоровым, чтобы быть в состоянии есть; Эмилия в своем беспокойстве за отца забывала о себе. Валанкур, молчаливый и задумчивый, но полный внимательности к своим спутникам, особенно заботился о том, чтобы доставить удобства и облегчение Сент-Оберу; тот часто замечал, что, когда дочь просила его что-нибудь съесть или поправляла ему подушку за спиной, Валанкур бросал на нее взгляды, полные грустной нежности, а Эмилия, видимо, с удовольствием чувствовала на себе эти взгляды.

Разошлись рано. Эмилию проводила в ее комнату одна из монахинь, которую она тотчас же отпустила; на сердце у нее была печаль, и разговор с посторонним лицом был бы ей тягостен.

Девушка размышляла о том, что отец с каждым днем слабеет, и теперешнее его изнеможение приписывала скорее слабости его организма, чем тягостям дороги. В голове ее проносились вереница мрачных мыслей, и на этом она заснула.

Часа два спустя ее разбудил звон колокола; она услышала торопливые шаги по коридору, куда выходила ее комната. Не знакомая с обычаями монастырской жизни, она всполошилась. Тревога за отца никогда не выходила у нее из головы; ей представилось, что, вероятно, ему сделалось худо. Торопливо вскочила она с постели, намереваясь бежать к нему, но остановилась пропустить людей, идущих по коридору и, тем временем, успела сообразить, что это колокол сзывает монахов к молитве.

Звон прекратился; опять наступила тишина.

Эмилия решила не ходить к отцу. Но спать ей не хотелось; луна ярко светила ей в комнату. Эмилия открыла окно и выглянула наружу.

Ночь была тиха и прекрасна: ни единого облачка на небе, ни один листочек не шевельнется на деревьях. Полночное пение монахов мягко раздавалось из часовни, расположенной на одной из низших скал – то был священный гимн, в тиши ночной возносившийся к небесам; вместе с ним возносилась и молитва Эмилии.

Глаза ее наполнились слезами восторга и благоговения к всемогущему Творцу; ее охватило то чистое благоговение, которое возвышает душу надо всем мирским, облагораживает ее, призывает познать Бога в Его могуществе и красоте Его творений, Его милосердие в бесконечности даруемых Им благ.

Полночное пение монахов вскоре сменилось безмолвием; но Эмилия все еще стояла у окна, наблюдая захождение луны и не желая нарушать своего благостного настроения. Наконец она улеглась на свою постель и погрузилась в спокойный сон.

Глава 5

*В долине, залитой лучами алыми.
Дышит любовь невинная, как вздох младенца,
свободный от забот*

Томсон

Сент-Обер, достаточно отдохнувший за ночь, чтобы продолжать путешествие, выехал рано поутру с дочерью и Валанкуром в Руссильон, куда надеялся прибыть до наступления ночи. Местность была дика и романтична; по временам пейзаж смягчался и получал более приветливый характер.

В горах попадались живописные лесистые балки, покрытые яркой зеленью и цветами; или же вдруг открывалась широкая цветущая долина, где паслись стада овец и рогатого скота по берегам прелестной реки.

Сент-Обер не раскаивался, что избрал этот маршрут, хотя и сегодня он принужден был много раз выходить из экипажа и взбираться пешком по крутым склонам и идти по краю глубоких пропастей. За это его вознаграждали дивная красота и разнообразие видов. Восторг его юных спутников еще удваивал его удовольствие и будил воспоминания из его собственной молодости, когда он впервые научился наслаждаться красотами природы. Ему доставляло удовольствие беседовать с Валанкуром и слушать его меткие замечания; ему нравились горячность и непосредственность его натуры, в его чувствах он угадывал прямоту и правдивость возвышенной души, еще не испорченной светом.

Сент-Обер, задерживаясь иногда по дороге, собирая дикие растения, с удовольствием наблюдал Эмилию и Валанкура, которые шли впереди: молодой человек с восторгом и оживлением указывал ей на какую-нибудь величественную особенность пейзажа; она слушала и любовалась с кроткой серьезностью, в которой сквозила ее возвышенная душа. Они казались влюбленными, никогда не переступавшими за пределы этих родных гор, изолированными от суетности обыденной жизни, – существами, одаренными помыслами простыми и благородными, как эти горы, и полагающими все свое счастье в единении чистых, любящих сердец. Сент-Обер улыбался, вздыхал над этими романтическими картинами счастья, созданными его фантазией, и опять вздыхал при мысли, до какой степени природа и безыскусственность мало знакомы свету, который считает все это романтическими бреднями.

«Свет, – продолжал он свои размышления, – глумится над страстью, которую редко испытывает: его обстановка, его интересы тревожат ум, развращают вкус, растлевают сердце; любовь не может существовать в сердце, утратившем кроткое достоинство невинности. Как искать любви в больших городах, где себялюбие, беспутство и неискренность вытесняют собою нежность, простоту и правду?»

Было около полудня, когда путешественники, на крутом опасном подъеме, вышли из экипажа и пошли пешком. Дорога извивалась по горе, покрытой лесом; но вместо того, чтобы следовать за каретой, они вошли под освежающую тень. В воздухе была разлита влажная прохлада, яркая мурава под деревьями, аромат диких цветов тимьяна и лаванды, величие сосен, вязов и орешника, бросавших тень на траву, делает это местечко очаровательным для отдыха. Местами густая зелень заслоняла вид на окрестности; в других местах можно было сквозь чащу проникнуть вдаль, и в воображении рисовались картины еще более прекрасные и живописные, чем все виденное до сих пор.

Паузы молчания, и прежде иногда прерывавшие беседы между Валанкуром и Эмилией, сегодня случались чаще обыкновенного. Валанкур беспрестанно переходил от оживления к

глубокой задумчивости; иногда в его улыбке сквозила непритворная меланхолия – Эмилия не могла не понимать ее, потому что и ее сердце отзывалось на его грусть.

Сент-Обер, отдохнув в тени, пошел дальше по лесу, стараясь по возможности держаться направления дороги; но вдруг к ужасу своему они заметили, что потеряли дорогу. Прельщенные живописностью местоположения, они шли по краю обрыва, тогда как дорога извивалась далеко в сторону, по верху скалы. Валанкур стал громко звать Михаила, но ответа не было, только эхо вторило его крикам; другие попытки его отыскать дорогу были также безуспешны. Вдруг они заметили на некотором расстоянии пастушью хижину, приютившуюся между деревьев, и Валанкур бросился туда за помощью. На пороге хижины играли два маленьких мальчика. Валанкур заглянул внутрь и не нашел никого; старший мальчик сказал ему, что отец пасет стадо, а мать пошла вниз в долину, но скоро вернется. Валанкур стоял и соображал, что ему делать, в это время раздался откуда-то зычный голос Михаила, подхватываемый эхом. Валанкур отвечал на зов, руководствуясь направлением звука, пробовал пробраться сквозь чащу, покрывавшую обрыв. С усилием цепляясь за терновник и карабкаясь по кручам, он наконец отыскал Михаила, успокоил его и велел ему выслушать его внимательно. Дорога пролегла в некотором отдалении от того места, где остались Сент-Обер с Эмилией; экипажу было бы трудно возвращаться назад к опушке леса; а так как для Сент-Обера было бы слишком утомительно карабкаться по крутой и длинной дороге к месту, где стоял экипаж, то Валанкур решил искать другого, более легкого подъема.

Между тем Сент-Обер и Эмилия тоже успели дойти до лесной избушки и, в ожидании возвращения Валанкура, уселись на примитивной скамейке, устроенной между двух сосен.

Старший из мальчиков бросил играть и, подойдя поближе, молча уставился на незнакомцев; младший же продолжал резвиться и звал брата к себе. Сент-Обер с удовольствием наблюдал эту картину детской простоты; она вызвала у него воспоминания о его собственных мальчиках, которых он лишился приблизительно в таком же возрасте, и об их дорогой матери; эти воспоминания навели на него грустную задумчивость. Заметив это, Эмилия тотчас же запела одну из простых, веселых песенок, которые он так любил, и которым она умела придавать чарующую прелесть. Сент-Обер, улыбаясь сквозь слезы, взял ее руку и с нежностью пожал ее, затем старался рассеять грусть, наполнявшую его сердце.

Пока она пела, вернулся Валанкур, но, не желая мешать ей, остановился послушать в отдалении. Когда она кончила, он подошел к своим спутникам и рассказал, что отыскал Михаила, а также тропу, по которой они могут взобраться по обрыву к своему экипажу. При этом он указал вверх на лесистую кручу, и Сент-Обер окинул ее тревожным взглядом. Он уже был утомлен своей прогулкой пешком, а этот подъем казался ему просто неприступным. Но, делать нечего, надо было попытаться. Эмилия, всегда заботясь об удобствах отца, предложила ему сначала отдохнуть и пообедать, а потом уже пуститься в путь. Валанкур пошел к экипажу за провизией.

Вернувшись, он предложил подняться немного повыше по горе – там открывался роскошный вид на далекие окрестности. Совет был принят, но в эту минуту они увидели, что к детям подошла молодая женщина, стала ласкать их и плакать над ними.

Заинтересовавшись ее горем, наши путешественники остановились и стали наблюдать. Крестьянка взяла младшего ребенка на руки, но, заметив, что на нее смотрят чужие люди, поспешно отерла слезы и ушла в хижину. Сент-Обер последовал за ней и, расспросив о причине ее отчаяния, узнал, что ее муж-пастух проводит здесь летние месяцы, чтобы пасти овец в горах, и вот прошлой ночью он лишился всего своего скромного достояния. Шайка цыган, давно уже наводившая страх на окрестности, угнала нескольких овец, принадлежавших его хозяину.

– Жак скопил немного денег, – рассказывала жена пастуха, – и на них купил собственных овец, – но теперь они должны перейти к его хозяину, взамен украденных; а хуже всего то,

что хозяин, узнав о случившемся, перестанет доверять мужу охрану своих стад – он человек жестокосердый, и тогда куда мы денемся с нашими малютками?

Простодушное лицо женщины, искренность ее тона убедили Сент-Обера в правдивости ее рассказа; Валанкур с участием спросил ее о стоимости украденных овец; ответ ее, по-видимому, смутил его. Сент-Обер сунул крестьянке немного денег; Эмилия тоже дала монету из своего скромного кошелька; после этого они направились к намеченному местечку на горе. Но Валанкур остался позади и продолжал говорить с женой пастуха, плакавшей от смущения и благодарности. Он спросил ее, сколько еще понадобится денег, чтобы пополнить сумму за пропавших овец. Оказалось, что нужна сумма немногим меньше той, какую он имел при себе. Валанкур был смущен и раздосадован.

«Эти деньги, – размышлял он про себя, – могут осчастливить бедную семью; в моей власти отдать их ей. Но что же тогда будет со мной? как я доберусь до дома с той маленькой суммой, что останется у меня?»

С минуту он простоял в нерешимости. Тем временем подошел и сам пастух; дети бросились к нему навстречу. Одного из них он схватил на руки, другой уцепился за его полы. Взглянув на его печальное, расстроенное лицо, Валанкур сразу решил: он отдал все свои деньги, за исключением нескольких червонцев, и поспешно убежал вдогонку за Сент-Обером и Эмилией, медленно подымавшимся по крутой тропинке. Редко случалось Валанкуру испытывать такую легкость на душе, как в эту минуту; сердце его так и прыгало от радости. Все окружающие предметы казались ему привлекательнее и красивее. Сент-Обер заметил необычайное оживление на его лице.

– Чему вы так радуетесь? – спросил он.

– О, какой чудный день! – отвечал Валанкур, – как дивно светит солнце! как прозрачен воздух! какой волшебный вид!

– В самом деле, здесь восхитительно, – согласился Сент-Обер; как человек опытный он понимал причину радостного настроения Валанкура.

– Какая жалость, что люди богатые, которые в состоянии доставить себе такую светлую радость, проводят дни в холодном мраке эгоизма! Дай Бог, чтобы для вас, мой юный друг, солнце всегда сияло так же ярко, как в эту минуту! Дай Бог, чтобы ваши собственные поступки всегда были для вас солнцем благодати и разума!

Валанкур, глубоко польщенный этой похвалой, мог ответить только благодарной улыбкой.

Они продолжали пробираться по лесу, между зеленеющими холмами, и когда достигли тенистой вершины, намеченной Валанкуром, у всех единодушно вырвался крик восторга. Позади того места, где они стояли, утес высился отвесной стеной с нависшими наверху глыбами скал; их серые тона резко выделялись перед яркой зеленью растений и диких цветов, растущих в расщелинах, и казались еще темнее от мрачных сосен и кедров на вершине. Склоны пониже были окаймлены бахромой альпийского кустарника, а еще ниже виднелись кудрявые макушки орешника, среди которого ютилась хижина пастуха, только что виденная ими, с голубоватым дымком, подымавшимся в воздух. Со всех сторон высились величественные вершины Пиренеев; иные представлялись в виде огромных глыб мрамора, вид которых менялся ежеминутно от разнообразных эффектов освещения; другие, еще более высокие, имели снеговые вершины, между тем как склоны их были покрыты лесами сосен, лиственниц и дуба, спускавшимися до самой долины. То была одна из самых узких долин, ведущих из Пиренеев в Руссильон; ее зеленеющие пастбища и возделанные поля представляли резкий контраст с окружающим романтическим величием. Сквозь ущелье в горах виднелись вдали равнины Руссильона, подернутые голубоватой дымкой и сливающиеся с водами Средиземного моря; у моря, на холме, отмечавшем побережье, стоял одинокий маяк, вокруг которого вились стаи морских чаек. Позади можно было порою различить парус, ярко-белый под лучами солнца, двигавшийся в направ-

лении маяка; а иной раз виднелся парус столь отдаленный, что как бы намечал отдельную линию между небом и волнами.

По ту сторону долины, как раз напротив того места, где отдыхали наши путники, открывалось скалистое ущелье, ведущее в Гасконь. Здесь не заметно было следов культуры. Гранитные скалы, окаймлявшие долину, подымались отвесно от самого основания и простирали свои обнаженные шпицы к облакам; они были лишены растительности и не оживлялись даже хижинами охотников. Местами одинокая гигантская лиственница бросала длинную тень над пропастью; там и сям на краю скалы виднелся надмогильный крест, как бы повествуя о судьбе того, кто отважился сюда забраться. Эти дикие места были известны, как притон бандитов; Эмилия так и ждала, что вот-вот они выползут из какого-нибудь оврага, подстерегая свою добычу. Вскоре, однако, попался на пути предмет, еще более поразивший ее: виселица, воздвигнутая на скале у входа в ущелье, как раз над одним из крестов, замеченных ею раньше. То были иероглифы, по которым можно было прочесть простую, но ужасную повесть. Эмилия ни слова не сказала отцу; но этот случай омрачил ее настроение, и она с беспокойством спешила вперед, чтобы добраться до Руссильона ранее наступления ночи. Однако Сент-Оберу необходимо было подкрепиться пищей; усевшись на сухой короткой травке, путники открыли корзину с провизией.

Отдых и чистый горный воздух оживили Сент-Обера, и Валанкур был так очарован всем окружающим и разговором со своими спутниками, что как будто забыл, что надо спешить дальше. Окончив свой скромный обед, они поднялись и двинулись в путь. Сент-Обер очень обрадовался, когда отыскался экипаж; он сел в него вместе с Эмилией; но Валанкур, желая еще ближе познакомиться с восхитительным краем, спустил с привязи своих собак и пошел бродить с ними по краям дороги; экипаж ехал медленно, и Валанкуру не трудно было нагонять его. Каждый раз, как представлялась картина особенно великолепная, он спешил оповестить об этом Сент-Обера; хотя тот был слишком утомлен, чтоб идти пешком, но приказывал экипажу подождать, пока Эмилия взбиралась на соседнюю скалу полюбоваться видом. Под вечер они спустились с Нижних Альп, ограничивающих Руссильон и образующих величественную ограду вокруг этого прелестного края, оставляя его открытым только на востоке, со стороны Средиземного моря. Здесь местность уже носила следы тщательной культуры: равнины пестрели яркими, веселыми красками под действием благодатного климата и трудолюбивого населения. Померанцевые и лимонные рощи распространяли благоухание, и спелые плоды их рдели между листвою, а по склонам раскинулись роскошные виноградники. За ними леса и пастбища, города и деревни тянулись по направлению к морю, на сверкающей поверхности которого белели далекие паруса, а над всей картиной был разлит алый отблеск заката. Этот пейзаж с окружающими его Альпами представлял действительно редкую картину, соединение нежной красоты и величия – словно красавица, покоящаяся на груди великана.

Путешественники, достигнув равнины, проехали между изгородями цветущих мирт и гранатов к Арлю, где намеревались отдохнуть. Там они нашли скромный, но опрятный ночлег и провели бы очень приятный вечер, после утомления и наслаждений этого дня, если б настроение их не омрачалось мыслью о предстоящей разлуке. Сент-Обер предполагал завтра же проехать к берегам Средиземного моря и затем следовать по берегу в Лангедок. А Валанкур теперь уже почти совсем поправившись и не имея более предложения продолжать путь со своими новыми друзьями, решил здесь же расстаться с ними. Сент-Обер, которому он очень понравился, хотя и приглашал его ехать дальше, но не настаивал. Валанкур имел столько характера, чтобы устоять против соблазна принять приглашение; он чувствовал, что иначе окажется недостойным этой любезности. Итак, на другое утро решено было расстаться; Сент-Обер должен был ехать в Лангедок, а Валанкур намеревался искать новых живописных мест в горах, по пути домой. Весь этот вечер он был молчалив и задумчив; Сент-Обер – ласков, но серьезен; Эмилия

казалась сосредоточенной, хотя старалась накинуть на себя веселость. Это был один из самых грустных вечеров, проведенных ими вместе.

Глава 6

*Фортуна! благ твоих я не желаю!
Ты у меня отнять не в силах красоты природы.
Не можешь для меня закрыть сияющих небес.
Где лик свой ясный кажет нам Аврора!
Не можешь запретить ногам моим под вечер
Бродить по долам и лесам, по берегу ручья.
О, только б закалились нервы у меня и тело.
Тогда охотно я готов отдать игрушки взрослым детям.
Фантазию же, разум, добродетель никто не может у меня*

отнять.

Томсон

Поутру Валанкур завтракал вместе с Сент-Обером и Эмилией; отец и дочь, по-видимому, плохо отдохнули за ночь. Сент-Обер далеко не оправился от своего болезненного припадка, напротив, к огорчению Эмилии, его состояние быстро ухудшалось.

В начале их знакомства Валанкур, конечно, назвал свое имя и фамилию. Сент-Оберу семья его отчасти была знакома, так как родовое поместье, теперь собственность старшего брата Валанкура, отстояло всего миль на двадцать от «Долины», и он не раз встречался со старшим Валанкуром у соседей-помещиков. Это знакомство почти способствовало его сближению со своим молодым спутником.

Завтрак прошел почти в таком же молчании, как и вчерашний ужин, наконец они были выведены из задумчивости стуком колес под окнами; Валанкур вскочил и бросился к окну: действительно, это был их экипаж, приехавший за Сент-Обером и Эмилией; молодой человек, ни слова не говоря, вернулся на свое место. Настал момент разлуки. Сент-Обер выразил надежду, что Валанкур не проедет мимо его «Долины», не посетив их; Валанкур, горячо поблагодарив, отвечал, что не замедлит навестить своих новых знакомых. При этом он робко взглянул на Эмилию, а она улыбкой старалась замаскировать свои невеселые думы. Прошло еще несколько минут в искренней беседе, наконец Сент-Обер вышел садиться в экипаж; Эмилия и Валанкур молча последовали за ним. Когда путешественники уже уселись, Валанкур стоял у дверей; никто из них не имел духу сказать последнее «Прощай!». Наконец Сент-Обер первый произнес это грустное слово; Эмилия повторила его Валанкуру, тот отвечал ей, печально улыбаясь, и экипаж тронулся в путь.

Некоторое время путешественники ехали молча, в тихой задумчивости, не лишенной прелести.

Сент-Обер первый нарушил молчание:

– Какой это милый, славный молодой человек! Давно я не встречал никого, кто пришелся бы мне так по сердцу после короткого знакомства. Он напомнил мне времена моей юности, когда и мне все казалось так ново и восхитительно!

Сент-Обер вздохнул и опять погрузился в раздумье. Эмилия невольно оглянулась назад: Валанкур все еще стоял у дверей маленькой гостиницы и следил глазами за удаляющимся экипажем. Он увидал Эмилию и помахал рукой в знак приветия; она отвечала тем же.

– Помню, когда я был юношей, – продолжал Сент-Обер, – я мыслил и чувствовал точно так же. Весь мир открывался передо мною, а теперь он скоро закроется...

– Зачем такие мрачные мысли, дорогой отец, – проговорила Эмилия дрожащим голосом, – надеюсь, ты проживешь еще много, много лет, на радость мне!

– Ах, моя Эмилия! – отвечал Сент-Обер, – разве что ради тебя... надеюсь, что это так будет.

Он смахнул наворачнувшуюся слезу, старался улыбнуться и проговорил бодрым голосом:
– В пылких увлечениях искренней юности есть что-то такое особенно радостное для старца, если чувства его еще не были совсем развращены светом. В этом есть что-то бодрящее и оживляющее, как весна для человека больного; он упивается теплом и солнечным светом. Вот такой-то весной был для меня Валанкур.

Эмилия с нежностью пожала руку отцу; никогда еще его похвалы не доставляли ей такой радости, даже когда относились к ней самой.

Они ехали дальше мимо виноградников, рощ и пастбищ, восхищенные дивной красотой ландшафта, ограниченного с одной стороны величественными Пиренеями, а с другой океаном. Вскоре после полудня они достигли города Калиура, расположенного на Средиземном море. Здесь они пообедали и отдохнули, а потом по холодку продолжали путь по очаровательному побережью, тянущемуся до Лангедока.

Сент-Обер желал поскорее добраться до Перпиньяна, где рассчитывал найти письма от господина Кенеля; эта надежда и побудила его немедленно выехать из Калиура, хотя ослабевшее тело его и нуждалось в немедленном отдыхе.

Проехав еще несколько миль, он заснул, и Эмилия, захватившая с собой две-три книги из дома, могла воспользоваться временем, чтобы почитать немного. Она стала искать одну из своих книг, которую Валанкур читал ей вслух накануне, и рассчитывала на удовольствие увидеть те страницы, по которым недавно скользил взор нового друга; останавливаться на тех местах, которыми он особенно восхищался, вспоминать при этом его замечания, его мнения, словом, вызывать его образ перед своими умственными очами. Но ей нигде не удавалось найти эту книгу, а вместо нее она нашла другую, том поэм Петрарки, принадлежавший Валанкуру, с надписанным на нем его именем; из этой книги он часто читал ей выдержки, выражавшие трогательные чувства автора.

Она не решалась верить тому, что было так очевидно, а именно, что он нарочно оставил эту книгу вместо другой, утраченной ею, и что любовь участвовала в этом обмене. Но когда она открыла книгу с радостным нетерпением и увидела подчеркнутые им места, которые он читал вслух, и другие еще более выразительные и страстные, которые он не решался произнести, не надеясь на твердость своего голоса, тогда, наконец, она угадала истину.

В первую минуту она сознавала только одно – счастье быть любимой, но затем ей вспомнились разнообразные интонации его голоса, выражение его лица, когда он читал ей эти сонеты, душу, сквозившую в его словах и голосе, и она заплакала над книгой, выразительницей его чувства.

Они прибыли в Перпиньян вскоре после заката, и Сент-Обер нашел там, как и ожидал, письма от своего родственника, Кенеля; содержание их так сильно взволновало и расстроило его, что Эмилия серьезно испугалась. Насколько позволяла ей деликатность, она просила отца сообщить ей причину своего огорчения; но он отвечал только слезами и тотчас же переменял разговор.

Эмилия не решалась настаивать, но печаль отца сильно беспокоила ее, и она провела ночь без сна и в тревоге.

На другое утро они продолжали путь вдоль побережья по направлению к Лекату, другому городу на Средиземном море, лежащему на рубеже Лангедока и Руссильона.

В дороге Эмилия возобновила вчерашний разговор и, по-видимому, была так глубоко удручена молчанием и унынием Сент-Обера, что он наконец решился открыть ей свою душу.

– Мне не хотелось, Эмилия, – сказал он, – портить тебе удовольствие и мешать тебе любоваться этими прелестными местностями, поэтому я желал пока скрыть от тебя некоторые обстоятельства – ведь рано или поздно ты все равно их узнала бы. Но твое беспокойство заставило меня изменить намерение: ты, пожалуй, больше страдаешь теперь, чем будешь страдать, когда узнаешь всю суть. Посещение Кенеля имело для меня очень неприятное значение: он

сообщил мне дурное известие, которое теперь подтверждает. Ты, вероятно, слыхала от меня о некоем Мотвиле из Парижа, но не знала, что часть моего личного состояния находится в его руках. Я вполне доверял ему и даже теперь готов верить, что он не совсем дурной человек. Стечение обстоятельств способствовало его разорению и... я тоже разорен, вместе с ним.

Сент-Обер остановился, чтобы скрыть свое волнение.

– В письмах, только что полученных от Кенеля, – продолжал он, стараясь говорить с твердостью, – были вложены письма от Мотвиля, подтверждающие мои опасения.

– Неужели нам придется уехать из «Долины»? – спросила Эмилия после долгой паузы.

– Это еще не наверное, – отвечал Сент-Обер, – все будет зависеть от соглашения, в какое может войти Мотвиль со своими кредиторами. Мой доход никогда не был велик, как тебе известно, а теперь он будет сведен до минимума. За тебя мне больно, Эмилия, за тебя я больше всего страдаю, дитя мое! – На последних словах голос его оборвался.

Эмилия нежно улыбнулась ему сквозь слезы и заговорила, стараясь совладать со своим волнением.

– Дорогой отец, не печалься ни за меня, ни за себя; мы еще можем быть счастливы; если «Долина» останется за нами, мы должны быть счастливы. Мы оставим всего одну служанку, и ты даже не заметишь сокращения твоего дохода. Успокойся, милый папа, нам не нужна та роскошь, которая так высоко ценится другими, мы не имеем к ней никакой склонности. А бедность не в силах лишить нас многих других радостей; она бессильна отнять у нас нашу взаимную привязанность, унижить нас во мнении друг друга, а также в собственном мнении и мнении всех тех, кого мы ценим.

Сент-Обер закрыл лицо платком и не мог проговорить ни слова; но Эмилия продолжала убеждать его в тех истинах, которые он же сам внушал ей с детства.

– Кроме того, дорогой отец, бедность не способна лишить нас духовных наслаждений. Она не может уничтожить в нас вкус к великому и прекрасному, не может отказать нам в средствах удовлетворять его; зрелища природы – эти дивные зрелища, так бесконечно превосходящие всякую искусственную роскошь, одинаково доступны и для бедного, и для богатого. На что же нам жаловаться, пока мы не нуждаемся в необходимом? Те удовольствия, каких богатство не может купить, по-прежнему останутся доступны нам. Значит, мы сохраним за собою высшие наслаждения природой и лишимся только суетных, искусственных удовольствий.

Сент-Обер не мог произнести ни слова; он прижал Эмилию к своей груди, и слезы их смешались. Но то были слезы отрадные... После таких задушевных излияний всякие другие речи показались бы слабыми, и некоторое время оба молчали. Потом Сент-Обер стал разговаривать о других предметах; хотя его дух, может быть, и не обрел своей прежней безмятежности, но по крайней мере с виду он стал спокойнее.

В середине дня достигли романтического города Леката; Сент-Обер был утомлен, и они решили там ночевать. Вечером он через силу заставил себя пойти гулять с дочерью для осмотра окрестностей, откуда открывается вид на озеро Лекат, на Средиземное море, на часть Руссильона с Пиренеями и на значительное пространство роскошной провинции Лангедока, покрытой виноградниками; в ту пору уже начался сбор винограда. Сент-Обер и Эмилия наблюдали оживленные группы крестьян, слушали веселые песни, приносимые бризом, и не без удовольствия обсуждали свое завтрашнее путешествие по этому благословенному краю. Сент-Обер намеревался держаться морского берега. Вернуться домой немедленно, таково было отчасти его желание; но ему хотелось продлить хоть немного удовольствие дочери, которой нравилось это путешествие, а также попробовать, не окажет ли ему пользу морской воздух в его болезненном состоянии.

Итак, на другой день они продолжали путь по Лангедоку, держась морского берега. По-прежнему на заднем плане пейзажа высились величавые Пиренеи, направо расстился океан, а налево тянулись необозримые равнины, сливаясь вдали с голубым горизонтом. Сент-Обер

был спокоен и много разговаривал с Эмилией. Впрочем, эта веселость была несколько искусственна; порою тень грусти пробежала по его чертам и выдавала его истинное настроение, однако эта мимолетная грусть быстро исчезала от улыбки Эмилиии; Эмилия же улыбалась скрепя сердце, сознавая, что несчастья тяжело угнетают душу отца и его измученное тело.

Под вечер достигли небольшой деревушки верхнего Лангедока, где намеревались провести ночь; но для них не нашлось там постелей – время было горячее, начался сбор винограда, так что они принуждены были ехать дальше. Болезненная слабость и утомление, снова овладевшие Сент-Обером, требовали для него немедленного отдыха, и становилось уже поздно; но делать было нечего, он приказал Михаилу погонять мулов.

Богатые равнины Лангедока, представлявшие во время сбора винограда картину праздничного веселья, уже не радовали взоров Сент-Обера; его собственное состояние представляло печальный контраст с ликованием и красотой всего окружающего. Когда его томный взор скользил по этой картине, он думал про себя, что скоро его глаза закроются навеки.

«Эти далекие, великолепные горы, – размышлял он, глядя на цепь Пиренеев, простиравшуюся к западу, – эти роскошные равнины, голубой свод небес, ликующее сияние солнца скоро навеки скроются от моего взора! Я уже не услышу песни поселянина, не услышу голоса человеческого!»

Зоркие глаза Эмилиии читали все происходившее в душе ее отца; она глядела ему в лицо с выражением такой нежной жалости, что он, бросив эгоистические сожаления, сосредоточил все свои помыслы лишь на том, что ему придется оставить дочь свою одинокой, без опоры и покровительства. Эта мысль приводила его в отчаяние; он молча глубоко вздыхал, а она, поняв смысл этих вздохов, с нежностью пожимала его руку и отворачивалась к окну кареты, чтобы скрыть свои слезы. Солнце в эту минуту бросало последний желтый отблеск на волны Средиземного моря; быстро стали спускаться сумерки, только на западном горизонте еще теплился печальный луч, отмечая пункт, где село солнце среди мглы осеннего вечера. С берега подул прохладный ветерок, и Эмилия опустила стекло. Но воздух, живительный для здорового, больному человеку показался ледяным. Сент-Обер пожелал закрыть окно. Он чувствовал себя так плохо, что более чем когда-либо жаждал отдыха и остановил возницу, чтобы осведомиться, далеко ли еще до следующей станции.

Михаил отвечал:

– Девять миль.

– Я чувствую, что не в состоянии ехать дальше, – проговорил Сент-Обер, – осведомись по пути, нет ли какого-нибудь дома неподалеку, где бы мы могли приютиться на ночь.

Он откинулся на подушки экипажа, а Михаил, щелкнув бичом, пустил мулов вскачь, пока наконец Сент-Обер, почти лишившийся чувств от толчков, не приказал ему остановиться. Эмилия с беспокойством выглянула из окна и увидела крестьянина, идущего по дороге; они подождали, пока он поравнялся с ними, и спросили его, нет ли поблизости дома, где могут принять путешественников.

Крестьянин отвечал, что не знает такого.

– Правда, есть тут неподалеку замок в лесу направо, – прибавил он, – но, кажется, туда никого не пускают, да я и не могу указать вам дорогу – я не здешний.

Сент-Обер хотел было задать ему еще несколько вопросов относительно замка, но человек круто повернулся и отошел. Сумерки быстро сгущались, и становилось все труднее двигаться. Вскоре повстречался другой крестьянин.

– Как проехать вон к тому замку в лесу? – крикнул ему Михаил.

– К замку в лесу? – отозвался крестьянин, – вы хотите сказать, вон к тому, с башней?

– Насчет башни я ничего не знаю, – отвечал Михаил, – а скажите мне вон про то большое белое здание, что виднеется вдали меж деревьев.

– Ну да, это и есть башня; да вы-то кто такие будете, что туда собираетесь? – с удивлением спросил прохожий.

Сент-Обер, услышав этот странный вопрос и заметив особенный тон, которым он был сделан, сам выглянул из кареты.

– Мы путешественники, – объяснил он, – ищем пристанища, куда бы нас пустили ночевать. Разве нет тут дома поблизости?

– То-то что нет, сударь; вам одно остается попытать счастья вон там, – отвечал крестьянин, показывая на лес, – только я бы вам не советовал туда забираться.

– Кому принадлежит этот замок?

– Я и сам не знаю, сударь.

– Что ж, замок необитаем?

– Не совсем, там, кажется, есть дворецкий да экономка...

Услышав это, Сент-Обер решил все-таки ехать к замку и подвергнуться риску получить отказ. Поэтому он попросил крестьянина показать Михаилу дорогу, обещая вознаградить его за труд. Человек, помолчав немного, отвечал, что он идет в другую сторону по делу, но что тут нельзя заблудиться – стоит только въехать в аллею, которую он и указал издали. Засим поселянин пожелал путникам спокойной ночи и быстро ушел.

Экипаж направился к указанной аллее; Михаил слез с козел, чтобы отворить ворота, и они поехали между двух рядов старых дубов и ореховых деревьев, образовавших своими сплетенными ветвями высокий свод над головами. Было что-то такое мрачное и пустынное в этой аллее, там стояла такая жуткая тишина, что Эмилия вздрагивала от неприятного чувства и, вспомнив, каким тоном крестьянин отозвался о замке, она стала придавать его словам таинственное значение, которого сначала и не уловила. Она старалась, однако, отогнать эти страхи, думая, что они навеяны ее мрачно настроенной фантазией, чувствительной к малейшему впечатлению. Экипаж медленно подвигался вперед: совсем стемнело, а кроме того, ухабы на дороге и часто попадающиеся выпуклые корни деревьев заставляли ехать осторожно. Вдруг Михаил совсем остановился; Сент-Обер, высунувшись в окно, чтобы осведомиться о причине остановки, увидел какую-то фигуру, двигавшуюся на некотором расстоянии вдоль дороги. В потемках невозможно было различить, что это такое, и Сент-Обер приказал Михаилу ехать дальше.

– Место-то уж больно дикое, – возразил возница, – жилья нигде не видать... Не лучше ли, ваша милость, повернуть назад?

– Поезжай еще немного дальше; если мы и тогда не увидим жилья, тогда вернемся назад на большую дорогу, – решил Сент-Обер.

Михаил нехотя повиновался; он тащился шагом и Сент-Обер опять высунулся из окна, чтобы несколько подогнать его, опять он увидал ту же фигуру. Он несколько встревожился; вероятно, мрачность обстановки делала его непривычно пугливым. Остановив Михаила, он велел ему окликнуть человека, идущего по аллее.

– А что, ваша милость, если это разбойник? – заметил Михаил.

– Ну, так повернем обратно, тем более что я не вижу здесь и следов жилья...

Михаил тотчас же повернул назад и пустил мулов быстрой рысью, как вдруг раздался чей-то голос из-за деревьев слева. Это не был зов или приказ остановиться: голос был густой, глухой, почти не человеческий по звуку. Возница ударил по мулам и поскакал сломя голову, невзирая на темноту, ухабы и толчки; он ни разу не остановился, пока не достиг ворот, ведущих на большую дорогу – там только он поехал более умеренным шагом.

– Мне очень дурно, – сказал вдруг Сент-Обер, схватив руку дочери.

– О, Боже мой, тебе хуже, отец! – воскликнула Эмилия, испуганная его движением, – тебе хуже, а некому помочь! Что делать?

Сент-Обер прислонился головой к ее плечу, а она обняла его рукой за талию и велела Михаилу опять остановиться. Когда замолкла трескотня колес, издали послышались звуки музыки: для Эмилии то был желанный голос надежды.

– О, тут где-то близко жилье! – сказала она, – скоро можно будет добыть помощь!

Она стала прислушиваться; звуки неслись издалека, как будто из глубины леса, окаймлявшего дорогу. Взглянув в ту сторону, она увидела при слабом свете месяца нечто похожее на замок.

Но достигнуть его было бы трудно. Сент-Обер был слишком нездоров, чтобы выносить тряску экипажа. Михаил не мог отойти от своих мулов. А Эмилия, поддерживавшая отца, боялась оставить его; с другой стороны, ей было страшно отважиться так далеко – неизвестно куда и неизвестно к кому. На что-нибудь, однако, надо было решиться немедленно: Сент-Обер приказал Михаилу ехать вперед потихоньку. Но не успели они сделать несколько шагов, как больной лишился чувств, и экипаж снова остановился. Сент-Обер лежал без движения.

– Милый, дорогой отец! – восклицала Эмилия в отчаянии; ей казалось, что он умирает. – Скажи мне хоть одно слово, дай услышать звук твоего голоса.

Но ответа не было. В ужасе она послала Михаила зачерпнуть воды из речонки, протекавшей вдоль дороги; он принес воды в своей шляпе, и Эмилия дрожащими руками попрыскала лицо отца, которое при лунном свете казалось застывшим, как у мертвеца. Теперь она отбросила всякий личный страх, под влиянием более сильного чувства. Поручив отца попечению Михаила, она вышла из экипажа и отправилась одна искать замок, видневшийся вдали. Была тихая лунная ночь, и музыка, все раздававшаяся в воздухе, направила ее шаги с большой дороге в тенистый проселок, ведущий к лесу. Некоторое время все ее помыслы так всецело были поглощены беспокойством за отца, что за себя она уже не боялась; но вот вечерняя тьма и густые нависшие тени, совершенно не пропускавшие лунного света, уединенность места опять напомнили ей рискованность ее положения. Музыка прекратилась; приходилось идти наугад. Одно мгновение она остановилась в смущении; но сознание отчаянного положения отца опять преодолело ее личные страхи, она двинулась вперед. Проселок упирался в лес; но Эмилия тщетно озиралась вокруг, надеясь увидеть жилище или хотя бы живое существо, тщетно старалась уловить хоть какие-нибудь звуки. Тем не менее, она все шла вперед, сама не зная куда, избегая чащи леса и стараясь держаться вдоль опушки, пока, наконец, перед нею не открылось нечто вроде аллеи, ведущей к просеке, ярко освещенной луною. Пока она колебалась, идти ли по аллее или вернуться, до ее слуха стали доноситься звуки громких голосов, не то смех и веселье, не то шум подгулявших людей. Она остановилась в испуге. В эту минуту издали раздался голос, зовущий на помощь именно с той стороны, откуда она пришла; не сомневаясь, что это кричит Михаил, она в первую минуту решила было бежать назад; потом одумалась, рассудив, что только крайняя нужда могла заставить Михаила бросить своих мулов; опасаясь, что отец ее в эту минуту умирает, Эмилия устремилась вперед, со слабой надеждой добыть помощи от этих людей в лесу.

Сердце ее билось от страха и отчаяния; она часто вздрагивала от шороха сухих листьев под ногами. Голоса привели ее к той просеке, освещенной луною, которую она заметила раньше. Остановившись в некотором отдалении, она увидела между стволами круглую лужайку, а на ней группу каких-то фигур. Подойдя ближе, она убедилась, по платью, что это крестьяне, и тут же увидела несколько избышек, разбросанных по опушке леса. Пока она стояла в нерешимости, стараясь преодолеть свою робость, из одной избышки вышла группа девушек; заиграла музыка, и начались танцы. То была веселая музыка вионоградарей – та самая, которую она уже слышала издали. Сердце Эмилии, переполненное тревогой за отца, не могло не чувствовать контраста между этой сценой веселья и ее собственным бедственным положением. Она бросилась к группе пожилых людей, сидевших у дверей избы, и, объяснив свое горе,

молила о помощи. Несколько человек сейчас же вызвались идти с ней, а она неслась как на крыльях по направлению большой дороги.

Они нашли Сент-Обера очнувшимся от обморока. Дело в том, что, когда он пришел в себя и узнал от Михаила об уходе дочери, он испугался за нее, забыв о собственном положении, и послал Михаила за Эмилией. Он все еще был очень слаб и, не чувствуя себя в силах продолжать путь, опять заговорил о гостинице и о замке в лесу.

– В замке вам нельзя будет поместиться, – сказал один почтенный поселянин, пришедший с Эмилией из леса, – он почти необитаем; но если вы сделаете мне честь посетить мою хижину, я готов отдать в ваше распоряжение самую лучшую из наших комнат.

Сент-Обер сам был француз, поэтому не удивился такому проявлению французской любезности; при всем своем болезненном расстройстве он оценил предложение и ласковые слова хозяина. Он был слишком деликатен, чтобы церемониться и колебаться, и недолго думая принял радушное приглашение крестьянина с такой же искренностью, с какою оно было сделано.

Экипаж поехал шагом по тому же проселку, по которому только что шла Эмилия, и скоро выехал на лужайку в лесу, ярко освещенную луной. Настроение духа у Сент-Обера несколько улучшилось под влиянием радушной любезности своего хозяина и предвкушения скорого отдыха, что он с тихой радостью полюбовался на сцену веселья среди леса, сквозь чашу которого местами виднелись то хижина, то сверкающая вдали речка. Он прислушивался не без удовольствия к разудалым звукам гитары и тамбурина, и хотя у него навертывались слезы при виде незатейливой пляски крестьян, но то не были слезы грусти и сожаления. Иначе чувствовала себя Эмилия: непосредственный страх за отца сменился теперь тихой меланхолией, которая в силу контраста увеличивалась с каждым звуком музыки и веселья.

Танцы прекратились, когда подъехал экипаж – диковинка в этих глухих лесах; поселяне, сгорая от любопытства, гурьбою окружили карету. Узнав, что в ней больной приезжий, несколько девушек побежали домой и вернулись с корзинами винограда, и наперерыв угощали путешественников.

Дорожная карета остановилась перед чистенькой избушкой; почтенный хозяин ее помог Сент-Оберу сойти и повел его с Эмилией в небольшую комнату, освещенную только луной, проливавшей свой свет в открытое окно. Сент-Обер, радуясь отдыху, расположился в кресле и с наслаждением вдыхал прохладный, благоуханный воздух; ветерок слегка колыхал жимолости, обрамлявшие окно, принося в комнату их нежный аромат. Хозяин, которого звали Лавуазен, удалился, но скоро вернулся с плодами, кринками молока и другим скромным деревенским угощением. Поставив все это на стол с приветливой улыбкой, он отошел и встал за креслом гостя. Сент-Обер настоял на том, чтобы он тоже сел с ними за стол. Лавуазен рассказал ему много интересного о себе и о своей семье, – рассказ был увлекателен, так как шел от чистого сердца и рисовал картину тихой, дружной семейной жизни. Эмилия сидела возле отца и держала его за руку; слушая речи старика, она сердцем сочувствовала ему и пролиwała слезы, печально размышляя о том, что смерть, вероятно, скоро отнимет у нее самое дорогое, что у нее есть на свете. Кроткий лунный свет осеннего вечера и далекая музыка, теперь перешедшая на жалобную мелодию, усиливали ее грусть. Старик продолжал говорить о своей семье, а Сент-Обер молча слушал.

– У меня осталась в живых только дочь, – говорил Лавуазен, – она счастлива замужем, а для меня она все в жизни. Когда я потерял жену, – добавил он со вздохом, – я переселился жить в семейство Агнессы: у нее несколько человек детей – все они пляшут там на лугу как стрекозы – дай Бог им подольше так веселиться! Я надеюсь умереть среди моих детей, сударь. Я уже стар и не могу рассчитывать прожить долго, но какое утешение в сознании, что умрешь окруженный своими дорогими домочадцами...

– Добрый друг мой, – прервал его Сент-Обер дрожащим голосом, – надеюсь, вы еще долго проживете среди детей своих!

– Ах, сударь, в мои годы на это нельзя рассчитывать! – возразил старик и задумался, – да я и не желаю, – продолжал он, – я верю, что когда умру, то пойду на небо, куда раньше попала моя бедная жена; иногда мне представляется вот в такую тихую лунную ночь, что я вижу ее гуляющей под деревьями, которые она так любила. Как вы думаете, сударь, можно будет нам иногда навещать близких на земле после того, как душа наша расстанется с телом?

Эмилия не могла долее заглушить свою сердечную тоску; слезы градом полились из глаз ее на руку отца. Он сделал над собой усилие, желая заговорить, и наконец, произнес тихим голосом.

– Я надеюсь, что нам разрешено, будет смотреть с высоты небес на тех, которых мы оставили на земле; но это не более, как надежда: загробная жизнь скрыта от наших взоров; единственные наши руководительницы – вера и надежда. Нам не сказано, что бестелесные души действительно наблюдают за своими близкими на земле, но мы можем чистосердечно надеяться, что это так. От этой надежды я никогда не отрешусь, – продолжал он, отирая слезы с лица дочери, – это усладит самые тяжелые минуты кончины!

По лицу его тихо катились слезы; Лавуазен плакал тоже; наступила пауза молчания. Немного погодя Лавуазен заговорил опять.

– Но вы верите, сударь, что мы встретимся на том свете с теми, кого любили на земле? Хотелось бы этому верить!

– Так и верьте, – отвечал Сент-Обер, – жестоки были бы терзания разлуки, если думать, что разлука будет вечной. Полно плакать, Эмилия, мы с тобой встретимся в лучшей жизни!

Лавуазен почувствовал, что он коснулся большого места, и старался переменить разговор.

– Однако, что же это мы сидим в потемках? Я забыл принести свечу!

– Нет, – остановил его Сент-Обер, – я люблю лунный свет! Садитесь, друг мой. Эмилия, дорогая моя, теперь я чувствую себя лучше, чем за весь день: этот воздух оживляет меня. Я наслаждаюсь чудным вечерним часом и тихой музыкой, доносящейся издали. Улыбнись же, душа моя! Кто это так искусно играет на гитаре? Это два инструмента или эхо?

– Должно быть, эхо, сударь. Эта гитара часто слышится по вечерам, когда все кругом тихо, но никому неизвестно, кто на ней играет; иногда ее сопровождает голос, такой нежный и грустный, что думается, уж не водятся ли в лесу духи?

– Не духи, конечно, а простые смертные, – заметил Сент-Обер с улыбкой.

– Случалось мне слышать эту музыку в полночь, когда мне не спалось, – продолжал Лавуазен, делая вид, что не слышал замечания, – почти под окном у меня. Я никогда не слышивал музыки, похожей на эту. Она наводила меня на мысли о моей бедной жене, и я начинал плакать. Иногда я подходил к окошку, высовывался наружу, но тотчас же все замолкало, и кругом не было видно ни души. Уж я слушал-слушал, и мне делалось так жутко, что даже шорох листьев, волнуемых ветерком, заставлял меня вздрагивать. Говорят, часто случается, что люди слышат эту музыку перед смертью. Но сколько лет я слышал ее, а вот все не умираю!..

Эмилия сначала улыбалась, как только заговорили об этом нелепом суеверии, но в теперешнем состоянии духа не могла не почувствовать его заразительности.

– Ну и что же, друг мой, – спросил Сент-Обер, – неужели никто не отважился проследить, откуда раздаются звуки? Легко было набрести и на музыканта.

– Как же, многие пробовали проследить звуки по лесу, но музыка уходила все дальше и дальше. Тогда наши крестьяне, труся, как бы не попасть в беду, прекращали поиски. Обыкновенно эта музыка не начинается так рано, а всегда попозднее, так около полуночи, вот когда эта яркая планета, что встает из-за далекой башни, опускается за лес налево.

– Какой башни? – с живостью подхватил Сент-Обер, – я не вижу никакой.

– Извините, сударь, но отсюда виднеется башня, и луна прямо светит на нее – вон в конце аллеи, далеко отсюда. Самый же замок скрыт за деревьями!

– Да, да, папа, – вмешалась Эмилия, – разве ты не видишь что-то яркое, сверкающее над темным лесом? Мне кажется, это металлический флюгер, на который падает лунный свет.

– Правда, правда, теперь я вижу, на что ты указываешь. Кому же принадлежит замок?

– Владельцем его был маркиз де Вильруа, – отвечал Лавуазен.

Сент-Обер казался взволнованным.

– Вот как! – промолвил он, – неужели мы так близко от Леблана?

– Прежде это было любимое имение маркиза, – продолжал Лавуазен, – но впоследствии оно опустылело ему, и он не показывался сюда много лет. Недавно разнесся слух, будто он умер и замок перешел в другие руки.

Сент-Обер вздрогнул, услышав эти слова.

– Умер! – воскликнул он. – Боже мой! Когда же это случилось?

– Говорят, недель с пять тому назад. Да разве вы знавали маркиза, сударь?

– Поразительно! – промолвил Сент-Обер, словно не слыша вопроса.

– Почему ты находишь это поразительным, папа? – спросила Эмилия с робким любопытством.

Не отвечая, он опять погрузился в задумчивость; через несколько минут, оправившись немного, он спросил – кто наследовал поместье?

– Я позабыл, как его величают, – отвечал Лавуазен, – его сиятельство проживает больше в Париже, сюда его и не ждут.

– Так, значит, замок заколочен?

– Почти что так, сударь. Старуха-домоправительница да ее муж, дворецкий, присматривают за домом, но сами живут отдельно во флигельке.

– Замок, вероятно, большой, – заметила Эмилия, – и для двоих там пустынно?

– Да, в нем жутко, барышня, – подтвердил Лавуазен. – Я бы ни за какие блага не согласился провести там ни одной ночи, хоть озолотите меня.

– О чем это вы? – спросил Сент-Обер, очнувшись от своих дум.

Когда хозяин повторил свои последние слова, Сент-Обер застонал, но как будто боясь, чтобы Лавуазен не заметил его расстройств, поспешил спросить, давно ли он живет в этом крае.

– Почти что с детства, сударь, – отвечал старик.

– Значит, вы помните покойную маркизу? – спросил Сент-Обер изменившимся голосом.

– Еще бы, сударь! Многие ее здесь помнят.

– В таком случае вам известно, что это была прекраснейшей души превосходнейшая дама. Она заслуживала лучшей участи.

На глазах Сент-Обера навернулись слезы.

– Довольно, – проговорил он голосом, прерывающимся от волнения, – довольно, друг мой.

Эмилия, чрезвычайно удивленная странной выходкой отца, однако воздержалась от каких-либо расспросов.

Лавуазен стал извиняться, но Сент-Обер прервал его:

– Извинения тут неуместны, – молвил он. – Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вы упоминали о музыке, которую мы только что слышали.

– Да, да... тсс! вот она опять: слышите голос! – Все примолкли.

Вскоре голос замер, а инструмент, сопровождавший его, еще звучал некоторое время тихой мелодией.

Сент-Обер заметил, что тон этого инструмента гораздо полнее и мелодичнее гитары и вместе с тем мягче и печальнее лютни.

Все трое продолжали слушать, но звуки уже не повторялись.

– Как странно! – проговорил наконец Сент-Обер.

– Очень странно! – отозвалась Эмилия, и все опять замолчали.

После долгой паузы Лавуазен заговорил:

– В первый раз я услышал эту музыку пятнадцать лет тому назад. Помню, было это в чудную летнюю ночь – вот как нынче, но в гораздо более поздний час. Я бродил по лесу один, у меня было тяжело на душе: захворал один из моих сыновей, и мы боялись потерять его. Весь вечер я просидел у изголовья мальчика, пока мать его спала, потому что всю предыдущую ночь она не сомкнула глаз. Просидев тот вечер у постели, я вышел подышать свежим воздухом; день был очень душный. Бродя под деревьями в задумчивости, я услышал музыку в отдалении и подумал, что это Клод играет на своей флейте, как это часто бывало летним вечером, на пороге дома. Но когда я вышел на просеку, где не было деревьев (никогда этого не забуду) и стал смотреть на северное сияние, плававшее на небе, я услышал вдруг такие звуки, что описать их невозможно... То была какая-то ангельская мелодия; я напряженно глядел на небо, точно ожидая увидеть самих ангелов. Придя домой, я рассказал, что слышал; но домашние стали надо мной смеяться, говоря, что это, наверное, играли пастухи на своих свирелях, а я, конечно, не мог разубедить их. Однако несколько дней спустя моя жена сама слышала те же звуки и была очарована не менее меня. Отец Дени напугал ее, сказав, что эта музыка предвещает смерть ее ребенка, – будто бы такое есть поверье.

Услышав это, Эмилия вздрогнула от суеверного страха – чувства, совершенно для нее нового, и не могла скрыть от отца своего волнения.

– Однако наш мальчик остался жив, невзирая на предсказания отца Дени.

– Отец Дени!?! – подхватил Сент-Обер, слушавший этот старческий рассказ с терпеливым вниманием. – Разве тут есть монастырь поблизости?

– Как же, есть, сударь; обитель Сен Клер недалеко отсюда – на берегу моря.

– А! – воскликнул Сент-Обер, точно его осенило какое-то внезапное воспоминание. – Обитель Сен Клер!

Эмилия взглянула на отца и заметила облако печали и даже ужаса, омрачившее его лицо; вслед затем черты его точно застыли, и при серебристом свете луны он походил на мраморное изваяние.

– Но, милый отец, – заговорила Эмилия, желая рассеять его грустные мысли, – ты забываешь, что тебе нужен отдых. Если позволит наш добрый хозяин, я приготовлю тебе постель: я ведь знаю твои привычки.

Сент-Обер, опомнившись и ласково улыбнувшись, просил ее не утомлять себя еще и этими заботами. Лавуазен, увлекшийся своими воспоминаниями и позабывший на минуту о своем госте, вскочил, в смущении извинился, что до сих пор не позвал Агнессу, и торопливо вышел из комнаты.

Через несколько минут он вернулся со своей дочерью, Агнессой, миловидной молодой женщиной; от нее Эмилия узнала то, чего раньше и не подозревала: для того, чтобы поместить гостей, некоторые члены семьи Лавуазена должны были уступить свои постели.

Это известие смутило Эмилию, но гостеприимная Агнесса успокоила ее; решили послать детей и Михаила ночевать к соседям.

– Если мне будет лучше завтра, Эмилия, – сказал Сент-Обер, – я выеду очень рано; надо спешить домой. При теперешнем состоянии моего духа и тела я не могу наслаждаться путешествием и мне хотелось бы поскорее добраться домой, в «Долину».

Хотя Эмилия и сама желала вернуться, но все-таки огорчилась, услышав о таком внезапном решении отца – в этом она видела доказательство, что он чувствует себя хуже; после этого Сент-Обер удалился на покой, а Эмилия пошла в свою маленькую каморку, но не леглась спать: мысли ее вернулись к сегодняшнему разговору о состоянии душ умерших. Эта тема была

особенно близкой ее сердцу теперь, когда она имела причины думать, что дорогой отец ее скоро отойдет в иной мир. Она задумчиво прислонилась к маленькому оконцу и в глубокой грусти устремила глаза свои на небо, синий безоблачный свод которого был густо усеян звездами, быть может, мирами, населенными духами, расставшимися со своей земной оболочкой. В то время как взор ее блуждал по безбрежному эфиру, помыслы ее вознеслись к Богу и к будущей жизни. Ни малейший звук суетного мира не прерывал течения ее дум; веселые танцы прекратились, и все обитатели поселка разошлись по домам. Воздух в лесу был тих и неподвижен, порою далекий звон овечьего колокольчика или стук закрываемого окна нарушал безмолвие ночное. Наконец, замерли и эти последние звуки жизни. Как очарованная, со слезами на глазах, полная благоговения, она продолжала стоять у окна, пока не спустился на землю мрак полуночи, и луна не закатилась за лес. Эмилии вспомнилось сильное волнение отца при известии о смерти маркиза Ла Вильруа и о судьбе его вдовы, маркизы. Всею душой она заинтересовалась таинственной причиной этого волнения. Ее удивление и любопытство были возбуждены тем сильнее, что она не помнила, чтобы когда-нибудь раньше слышала от отца фамилию Вильруа.

Однако никакая музыка не нарушила тишину ночи, и Эмилия, вспомнив, что уже очень поздно, а завтра ей придется вставать рано, отошла, наконец, от окна и легла спать.

Глава 7

*Пусть те свою оплакивают долю.
Кто упование возлагает лишь на здешний бренный мир,
Но души высшие глядят и за пределы гроба.
С улыбкою они судьбу встречают и дивятся,
Как можно так тужить? Разве весна
Вовеки не вернется в эти доли?
Разве волна навеки погребла светило дня?
Но скоро снова засияет на востоке солнце.
Опять весна все воскресит живительным дыханьем.
Украсит рощу и луга!*

Битти

Эмилия, разбуженная, по ее просьбе, рано поутру, проснулась мало освеженная отдыхом: всю ночь ее преследовали тревожные видения и нарушали сон – эту лучшую отраду несчастных. Но когда она открыла окно, выглянула в лес, озаренный утренним солнцем, и в комнату ворвался чистый, свежий воздух, на душе у нее стало легче. Все кругом дышало бодрой, здоровой свежестью; в ушах ее раздавались приятные, радостные звуки: утренний благовест монастыря, слабый рокот морских волн, пение птиц, отдаленное мычание стада, которое пробиралось вдали между стволов.

Пораженная поэзией окружающего, Эмилия отдалась задумчивой прелести настроения, и пока она стояла у окна, поджидая Сент-Обера, мысли ее сложились в следующие строфы:

Раннее утро

*Какое наслаждение бродить под сенью леса,
Когда предрассветный сумрак
Еще царит в дремлющей чаще
И постепенно тает от багрянца утренней зари.
В тот час каждый цветок новорожденный,
Обрызганный слезой росы,
Подымет свою свежую головку,
Повертывает к свету чашечку свою
И посылает в воздух сладкий аромат.
Как свеж бриз, насыщенный благоуханием.
Несущий мелодии пробудившихся птиц.
Жужжание пчелы под зеленым шатром
И песню лесника, мычанье дальних стад!..
Там вдалеке сквозят за листвой
Суровые вершины гор,
А дальше моря глубокое лоно
С резвыми парусами, тронутыми солнечным лучом.
Но тицетны и прохлада леса, и дыханье мая,
И музыка, приносимая ветерком,
И солнца луч сквозь росистую дымку.
Когда разрушено здоровье и сердце к радости остыло.*

Вскоре Эмилия услышала движение внизу, а потом и голос Михаила, разговаривающего со своими мулами, в то время как он выводил их из соседнего сарая. Эмилия вышла и у дверей встретила с Сент-Обером. Она повела его вниз в маленькое зальце, где они вчера ужинали; там они нашли накрытый завтрак и хозяина с дочерью, ожидавших своих гостей, чтобы пожелать им доброго утра.

– У вас завидный домик, – сказал им Сент-Обер, – такой веселый, чистенький, уютный. А воздух, которым здесь дышишь! – право, если что может поправить расшатанное здоровье, то именно такой воздух!

Лавуазен поклонился в знак благодарности и отвечал с любезностью истинного француза.

– Нашей избушке действительно можно позавидовать, сударь, с тех пор, как вы и ваша барышня почтили ее своим посещением.

Сент-Обер ласково улыбнулся на комплимент и сел за стол, уставленный плодами, молоком, свежим сыром, маслом и кофе. Эмилия, внимательно наблюдавшая за отцом и заметившая, что он очень нездоров, старалась уговорить его, чтобы он отложил отъезд до после полудня. Но он стремился домой и выражал свое желание с настойчивостью, для него непривычной. Он уверял, что сегодня чувствует себя не хуже обыкновенного и легче вынесет путешествие в прохладные утренние часы, чем в другую пору дня. Но в то время как он разговаривал со стариком хозяином и благодарил его за гостеприимство, Эмилия заметила, что лицо его меняется; не успела она броситься к нему, как он в бессилии откинулся на спинку кресла. Через несколько минут он очнулся от внезапного обморока, но чувствовал себя так плохо, что не в состоянии был ехать. Посидев еще немного и стараясь побороть свое нездоровье, он попросил, чтобы его свели наверх и уложили в постель. Эмилия перепугалась, но по возможности

скрывала свое беспокойство от отца и подставила ему свою дрожащую руку, чтобы помочь подняться по лестнице.

Улегшись снова в постель, больной пожелал, чтобы позвали Эмилию, горько плакавшую в своей комнате. Когда она пришла, он движением руки велел всем прочим выйти вон. Оставшись наедине с дочерью, больной протянул ей руку с выражением такой нежности и скорби, что она не выдержала и залилась горячими слезами. Сент-Обер, казалось, боролся с собой, стараясь обрести твердость духа, но долго не мог произнести ни слова, а только пожимал ее руку и смахивал слезы, катившиеся из его глаз.

– Дорогое дитя мое, – начал он, наконец, через силу улыбаясь, – дорогая моя Эмилия!..

Тут он опять остановился, поднял глаза к небу, как бы с мольбою, и продолжал уже более твердым голосом: в его взорах была и отеческая нежность и торжественность мученика.

– Дорогое дитя мое, я желал бы смягчить тяжелую правду, которую имею открыть тебе, но не могу притворяться. Да и было бы слишком жестоко обманывать тебя. Скоро нам с тобою придется расстаться; так будем же открыто говорить о нашей разлуке, чтобы приготовиться вынести ее!

Голос его опять прервался; плачущая Эмилия еще крепче прижала его руку к своей груди, из которой вырывались судорожные рыдания, но не поднимала глаз.

– Не будем терять понапрасну этих последних минут; я хочу говорить с тобой об одном крайне важном деле и взять с тебя торжественное обещание; после этого мне станет легче. Ты могла заметить, душа моя, как сильно я стремлюсь домой, но ты не знаешь – почему. Выслушай, что я имею сказать тебе. Но постой, прежде всего, дай мне одно обещание, – сделай это для твоего умирающего отца!

Тут Сент-Обер умолк. Эмилия, пораженная его последними словами, точно ей впервые представилась мысль о возможности его близкой смерти, подняла голову. Слезы ее высохли и, взглянув на него с выражением глубокой душевной скорби, она без чувств откинулась на спинку стула. На крик Сент-Обера прибежали Лавуазен с дочерью и употребили все усилия, чтобы привести ее в сознание; но это долго им не удавалось. Когда она, наконец, пришла в себя, Сент-Обер был так измучен вынесенной тяжелой сценой, что в первые минуты не имел сил говорить. Его несколько оживило лекарство, поданное ему Эмилией. Оставшись с нею опять наедине, он старался успокоить и утешить ее. Она бросилась ему на шею, долго плакала на его груди; от горя она утратила способность понимать, что он говорил ей; пришлось прекратить успокоительные речи, в действительность которых он сам не верил в эту минуту, и слезы их смешались. Наконец, вернувшись к сознанию долга, Эмилия поняла, что не следует еще более расстраивать отца. Она осушила слезы и сказала ему, что готова слушать.

– Дорогая Эмилия, – сказал Сент-Обер, – милое дитя мое, мы должны со смиренным упованием возносить наши молитвы к Господу. Он всегда оказывал нам покровительство и утешение во всякой опасности, всяком горе; Его око видит нас во все моменты нашей жизни. Он не покинет нас, не захочет нас покинуть. Его святой охране я поручаю тебя, дитя мое! Перестань же плакать, моя Эмилия. В смерти нет ничего нового и поразительного, все мы родились, чтобы умереть. Смерть не страшна тем, кто уповает на благодать всемогущего Бога. Если б я остался жив теперь, то все равно через несколько лет, по закону природы, я принужден был бы расстаться с жизнью: старость со всеми ее немощами, лишениями и печалью выпала бы на мою долю. И потом все равно наступила бы смерть, вызывая у тебя те же слезы, что ты проливаешь теперь. Скорее радуйся, дитя мое, что я избавлюсь от лишних страданий и что мне дано умереть с душою спокойной и доступной всем утешениям веры.

Сент-Обер остановился, утомленный длинной речью; Эмилия пыталась выказать самообладание и успокоить его уверенностью, что слова его не были напрасны.

Отдохнув немного, он продолжал:

– Перейду теперь к предмету особенно близкому моему сердцу. Я говорил, что хочу взять с тебя торжественное обещание: дай мне его сейчас же, прежде чем я объясню тебе главное обстоятельство, к которому оно относится. Есть и другие, но о них, ради твоего спокойствия, тебе лучше и вовсе не знать. Обещай же мне, что ты свято исполнишь то, о чем я попрошу тебя.

Эмилия, пораженная торжественностью этих слов, осушила свои слезы и поклялась исполнить все, чего он ни пожелает; при этом она дрожала, сама не зная от чего.

– Я слишком хорошо знаю тебя, моя Эмилия, – продолжал Сент-Обер, – чтобы опасаться, что ты не сдержишь своего обещания, а тем более обещания, данного с такой торжественностью. Так слушай же: в каморке, смежной с моей спальней, у нас в доме есть подвижная доска в полу; ты узнаешь ее по сучку особенной формы на ее поверхности, это вторая доска от стены, против дверей. На расстоянии около сажени от этого конца, ближе к окну, ты увидишь поперек доски черту, как будто доска в этом месте была надставлена. Поднять ее можно следующим образом: придави ногой черту на доске, тогда конец ее опустится, и она легко скользнет под другие доски. Под нею ты увидишь тайник.

Сент-Обер остановился перевести дух; Эмилия слушала с напряженным вниманием.

– Понимаешь мои объяснения, дитя мое? – спросил он. Эмилия отвечала утвердительно, хотя от волнения едва могла говорить.

– Итак, когда ты вернешься домой... – продолжал он с тяжелым вздохом.

При этих словах ей живо представилась вся печаль такого возвращения, и она судорожно зарыдала. Сент-Обер, сам взволнованный, несмотря на решимость крепиться, плакал вместе с нею.

Через несколько минут он овладел собой.

– Дорогое дитя мое, утешься, – сказал он, – когда меня не станет, ты не будешь покинута: я оставляю тебя под охраной Провидения, никогда не покидавшего нас. Не огорчай меня своим чрезмерным отчаянием; лучше своим примером научи меня нести мое горе.

Но чем больше Эмилия старалась сдержать свое волнение, тем больше она находила это невозможным.

Сент-Оберу становилось все труднее и труднее говорить, но он вернулся к делу:

– Итак, душа моя, когда ты приедешь домой, ступай сейчас же в эту комнатку. Под указанной мною доской ты найдешь сверток бумаг. Теперь слушай хорошенько, потому что обещание, данное тобою, преимущественно касается этого пункта. Эти бумаги ты должна сжечь, – торжественно приказываю тебе – сжечь их, не читая.

В эту минуту изумление Эмилии заслонило ее горе; она решилась спросить – зачем это необходимо?

Сент-Обер отвечал, что если бы он считал нужным объяснять ей свои причины, то ему не для чего было бы брать с нее клятвы.

– Для тебя будет достаточно, дорогая моя, глубокого сознания всей важности исполнения моего завета. Под этой же доской, – продолжал он, – ты найдешь двести пистолей в шелковом кошельке. В сущности, этот тайник был устроен в замке, чтобы прятать там все наличные деньги в те тревожные времена, когда шайки грабителей производили набеги на усадьбы, пользуясь смутами. Но я должен взять с тебя еще одно обещание, а именно, что ты никогда, каковы бы ни были твои обстоятельства в будущем – ни за что не продашь замок. Даже в случае твоего замужества ты должна включить такое условие в свой брачный контракт.

Далее больной подробно изложил ей свои теперешние обстоятельства, прибавив:

– Те двести червонцев, вместе с небольшой суммой, находящейся при мне в кошельке – вот все, что я могу оставить тебе по части наличных денег. Я уже говорил тебе о своих денежных делах с господином Мотвилем в Париже. Ах, дитя мое, я оставляю тебя бедной, но не в нищете, – добавил он после долгой паузы.

Эмилия была не в силах отвечать ему; она опустилась на колени у его постели, спрятала лицо в складки одеяла и пролиwała слезы.

После этого разговора Сент-Обер, видимо, успокоился духом; но, утомленный долгим усилием, он впал в полудремоту. Эмилия продолжала сидеть у его изголовья и плакать. Вдруг раздался легкий стук в дверь.

Пришел Лавуазен доложить, что внизу дожидается духовник из соседнего монастыря, пришедший напутствовать Сент-Обера. Эмилия не позволила тревожить задремавшего отца, но просила, чтобы монах не уходил из дома.

Когда Сент-Обер очнулся от дремоты, мысли его были так спутаны, что он в первую минуту не узнал даже Эмилии. Но вот губы его зашевелились, он протянул дочери руку. Эмилия была поражена осунувшимся, мертвенным видом его лица. Через некоторое время к нему вернулась способность говорить, и Эмилия спросила его, не желает ли он повидаться с духовником. Он отвечал утвердительно, и когда явился монах, Эмилия вышла из комнаты. Около получаса они оставались с глазу на глаз. Когда Эмилию позвали, она застала Сент-Обера еще более взволнованным, и с укором взглянула на монаха, но тот отвечал ей взглядом, полным кротости и печали. Сент-Обер дрожащим голосом выразил желание, чтобы она и Лавуазен помолились с ним. Старик с дочерью явились на зов: оба, плача, преклонили колена рядом с Эмилией, в то время как аббат прочувствованным голосом читал отходную. Сент-Обер лежал с ясным лицом и, казалось, горячо молился; слезы капали из-под его закрытых век, и рыдания Эмилии не раз прерывали службу.

После совершения соборования над умирающим монах удалился. Сент-Обер знаком поманил к себе Лавуазена.

– Милый друг мой, – начал он дрожащим голосом, – наше знакомство, хотя и кратковременное, дало вам случай оказать мне много ласки и участия. Не сомневаюсь, что вы с такой же добротой отнесетесь к моей дочери, когда меня не станет; бедняжка будет нуждаться в участии. Поручаю ее вашим заботам на те немногие дни, что она проведет здесь. Больше мне нечего сказать – вам знакомы чувства отца, у вас у самого есть дети. Мне было бы еще тяжелее, если б я не питал к вам такого доверия.

Он умолк.

Лавуазен со слезами искренней жалости стал уверять больного, что он сделает все возможное, чтобы смягчить горе его дочери, и что, если угодно Сент-Оберу, он готов проводить ее в Гасконь. Это предложение было так приятно Сент-Оберу, что он не знал, как благодарить старика за его доброту. Последующая сцена между Сент-Обером и Эмилией так сильно расстроила Лавуазена, что он вышел из комнаты, и молодая девушка опять осталась наедине с отцом, силы которого быстро падали; но сознание не покидало его и голос не изменял ему; по мере возможности он пользовался этими последними минутами, чтобы наставлять дочь, как ей жить. Никогда еще он не выражался так красноречиво и не высказывал таких верных мыслей, как в эти предсмертные минуты.

– Больше всего, дорогая Эмилия, остерегайся излишней чувствительности – это ошибка, в которую впадают многие нежные, романтические натуры. Кто одарен от природы тонкой чувствительностью, тот должен с раннего возраста учиться понимать, что это опасное качество; оно склонно преувеличивать и горе, и радость. А так как в течение нашей жизни горести случаются чаще, чем радостные события, и так как в нас восприимчивость к злу острее восприимчивости к добру, то мы делаемся жертвами наших чувств, если только не умеем мало-мальски владеть ими. Я знаю, ты скажешь мне (ты еще молода, моя Эмилия!), что готова лучше пострадать лишний раз, чем отказаться от того утонченного счастья, какое испытываешь в иные минуты; но когда твоя душа будет измучена долгими превратностями судьбы, ты будешь рада отдохнуть и поймешь свое заблуждение: ты убедишься, что призрак счастья сменился самой его сущностью. Ибо счастье рождается в состоянии покоя, а не в буре, счастье по своей

ству своему спокойно и монотонно и равно не может существовать как в сердце, живущем мелочами, так и в сердце мертвом для чувства. Ты видишь, милая, что хотя я предостерегаю тебя против опасностей преувеличенной чувствительности, но я не стою за апатию. В твоём возрасте, я сказал бы, что это порок еще более ненавистный, чем заблуждения чувствительности, и повторяю это сейчас. Это порок, потому что ведет к положительному злу. Особенно в твои лета апатия, пожалуй, не лучше дурно управляемой чувствительности, которая тоже могла бы быть названа пороком. Но зло, причиняемое первой, имеет еще более общее значение... однако я утомился и утомил тебя, моя Эмилия, – промолвил Сент-Обер слабым голосом, – но, говоря о вещах столь важных для твоего счастья в будущем, я хотел быть понятным...

Эмилия уверила отца, что его советы драгоценны для нее, что она никогда их не забудет и всегда будет стараться следовать им. Сент-Обер нежно и грустно улыбался, глядя на дочь.

– Повторяю, я не стал бы учить тебя быть бесчувственной, – сказал он. – Я хотел только предостеречь тебя против зла излишней чувствительности и указать, как ее избежать. Остерегайся, душа моя, умоляю тебя, самообольщения, погубившего покой стольких людей: остерегайся склонности рисоваться своей чувствительностью. Если ты поддашься этому тщеславию, твое счастье погублено. Не забывай также, что апатия далека от добродетели. Помни, что малейшее добро, истинно полезное дело – выше всякой отвлеченной сентиментальности. Чувствительность является позором, а не украшением, если она не ведет к добрым делам. Скряга, считающий себя достойным уважения потому только, что он обладает богатством, и таким образом ошибочно принимает средства для делания добра за действительное совершение доброго дела – достоин осуждения не более того человека, который одарен одной чувствительностью, а не активной добродетелью. Ты, вероятно, заметила, что иные люди до такой степени услаждаются такого рода приторной чувствительностью, что они отворачиваются от несчастных и, потому что на их страдания тяжело смотреть, не делают даже попыток облегчить их участь. Как презренно такое человеколюбие, которое довольствуется жалостью, когда нужна деятельная помощь!

Немного погодя Сент-Обер заговорил о своей сестре госпоже Шерон.

– Теперь я хочу потолковать об одном обстоятельстве, близко касающемся твоего благосостояния. Как тебе известно, мы с сестрой редко видались; но так как она единственная твоя близкая родственница, то я счел нужным поручить тебя ее попечению, как ты увидишь из моего завещания, – до твоего совершеннолетия, и впоследствии просить для тебя ее покровительства. Нельзя сказать, чтобы она была именно такая особа, которой я желал бы поручить мою Эмилию; но у меня не было выбора, да в сущности, мне кажется, что она добрая женщина. Считаю лишним просить тебя, душа моя, чтобы ты сама постаралась заслужить ее расположение – ты это сделаешь ради своего отца.

Эмилия отвечала обещанием по мере сил своих свято исполнить все, чего желает отец.

– Увы! – прибавила она, вздыхая, – скоро для меня будет единственной отрадой в жизни – исполнять твои заветы.

Сент-Обер молча взглянул ей в глаза, точно желая сказать что-то; но сознание его затуманилось, глаза помутнились. Этот взгляд потряс Эмилию до глубины души.

– Милый отец! – воскликнула она; но, сдержав свои чувства, она еще крепче сжала его руку и закрыла себе лицо платком; слезы ее были скрыты, но Сент-Обер услышал ее судорожные рыдания. Он очнулся.

– О, дитя мое, – произнес он слабым голосом, – ищи утешения там же, где обрел его твой отец! Я умираю спокойно; я твердо верю, что возвращаюсь в лоно Отца моего Небесного!.. Всегда неизменно веруй в Него, дорогая моя, и Он поддержит тебя в тяжелые минуты, как поддерживал меня.

Эмилия могла только слушать и плакать, но чрезвычайное спокойствие его духа, вера и надежда, сиявшие в его взоре, несколько смягчали ее отчаяние. Однако всякий раз, как сна

взглядывала на его изможденное лицо, на которое смерть уже наложила свою печать, на его впалые глаза и отяжелевшие веки – она чувствовала удар в самое сердце, невыразимо мучительный.

Умиравший пожелал еще раз благословить ее.

– Где ты, моя радость, – спросил он, протягивая руки. – Эмилия отошла к окну, чтобы скрыть от него свою печаль. Она поняла, что зрение изменяет ему.

Благословив ее – казалось, то было последнее усилие отлетающей жизни, – он упал навзничь на подушки. Она поцеловала его в лоб, уже покрытый холодным потом. Сент-Обер поднял глаза; в них мелькнула еще раз отеческая нежность, но сейчас же взор его потух и он больше уже не произнес ни слова.

Сент-Обер протянул еще до трех часов пополудни и, постепенно погружаясь в бессознательное состояние, скончался тихо, без агонии.

Лавуазен с дочерью увели Эмилию из комнаты; оба старались, как умели, поддержать и успокоить ее, и старик, сидя возле, плакал вместе с нею.

Глава 8

*Над тем, по ком душа моя тоскует,
В вечерний час сидят воздушные виденья,
Склонив задумчивые лица.*

Коллинз

Монах, исповедовавший Сент-Обера, вернулся опять вечером, чтобы поговорить с Эмилией и кстати передал ей от имени аббатисы ласковое приглашение в монастырь. Эмилия отказалась принять приглашение, но горячо благодарила аббатису. Благочестивая беседа монаха несколько утишила ее отчаяние, и она вознесла помыслы свои к Творцу, Властителю вселенной: перед вечностью Его все события нашего ничтожного, маленького мира – тлен и прах.

– Перед ликом Господа, – говорила Эмилия, – отец мой жив и поныне; это несомненно, как и то, что он вчера существовал для меня. Он умер для меня, но для Бога и для себя он жив!

Добрый монах оставил ее несколько успокоившейся; перед тем как удалиться на отдых в свою каморку, она решилась, понадеявшись на свои силы, пойти взглянуть на тело отца. Молча, без слез, она стояла у одра смерти; черты усопшего, ясные и спокойные, говорили о тех чувствах, которые посетили его в последние минуты его жизни. Одно мгновение ей стало страшно при виде мертвой неподвижности этого лица, еще недавно оживленного, и она отвернулась. Но этот ужас продолжался недолго – она опять стала смотреть на покойного со смешанным чувством сомнения и трепетного удивления: она как будто ждала, что вот-вот оживут эти горячо любимые черты. Она подняла его холодную руку, заговорила с ним, не спуская с него глаз, и вдруг разразилась припадком горьких слез.

Эмилия дала волю неутешным слезам, и когда вечерний мрак наполнил комнату и почти скрыл от ее глаз предмет ее печали, она все продолжала стоять над телом, пока наконец на нее не нашло какое-то оцепенение: она вдруг стала спокойна. Лавуазен постучался в дверь, убеждая девушку пойти в общую комнату. Перед уходом она поцеловала Сент-Обера в губы, как это делала всегда, прощаясь с ним на сон грядущий, поцеловала еще раз. Сердце ее готово было разорваться: несколько горьких слез выкатилось из ее глаз; она устремила взор свой к небу, потом еще взглянула на отца и вышла вон.

Удалившись в свою комнату, она и тут не переставала думать об умершем родителе и, даже когда впала в тревожный полусон, страшные видения, создания ее недремлющей фантазии, продолжали терзать ее. Ей чудилось, что к ней подходит отец с кроткой, печальной улыбкой на устах; он указывает на небо и губы его шевелятся... но вместо слов она слышит прелестную музыку, несущуюся издали, и видит, что лицо его озаряется неземным блаженством. Мелодия звучит все громче и... она просыпается. Видение исчезло, но музыка продолжала раздаваться в ее ушах, как ангельское пение. Недоумевая, она приподнялась на колени и стала напряженно слушать. Это была настоящая музыка, а не иллюзия ее воображения. После торжественного гимна зазвучала сладкая, грустная мелодия и вдруг замерла каденцой, как будто возносившей душу до горних обителей. Эмилия тотчас же вспомнила музыку прошлого вечера, странный случай, рассказанный Лавуазеном, и вообще весь разговор о состоянии душ в загробной жизни.

Все, что Сент-Обер сказал тогда об этом предмете, вспомнилось ей теперь и легло камнем на ее сердце. Какая странная перемена случилась за несколько часов! Тогда он мог только предполагать, догадываться о том, что ожидает нас за гробом, а теперь он уже познал истину, сам переселился в иную жизнь. Ее охватил какой-то суеверный трепет; слезы ее иссыкли, она встала и подошла к окну. Кругом стояла тьма; но, обратив взор от густой чащи леса, волнистые очертания которого обрисовывались на небе, Эмилия увидела налево луну, опускавшуюся за

лес. Ей вспомнился рассказ старика; а так как по временам опять начинала играть музыка, то Эмилия открыла окно, желая насладиться мелодией, постепенно удалявшейся, и стараясь угадать, откуда она исходит. В потемках она не могла различать предметы на лужайке внизу; а звуки становились все слабее и слабее, наконец, замерли совершенно. Вскоре лунный свет затрепетал над кудрявыми макушками деревьев, и через несколько минут луна скрылась за лесом. Вся застыв от страха и печали, Эмилия легла в постель и наконец-то на время забыла свое горе в крепком сне.

На другое утро к ней пришла монахиня из соседнего монастыря с предложением услуг и вторичным приглашением от настоятельницы. Эмилия не хотела расстаться с домом, пока в нем лежит прах ее отца; но, как ни тяжело ей было такое усилие в теперешнем состоянии ее духа, она согласилась посетить настоятельницу в тот же вечер и поблагодарить ее за участие.

За час до заката солнца Лавуазен проводил ее через лес к монастырю, лежавшему у небольшого залива Средиземного моря, увенчанного лесистыми уступами, и будь Эмилия не так несчастна, она пришла бы в восторг от прелестного вида на море, открывавшегося с того берега, напротив монастырского здания, и от красивого побережья, покрытого лесом и пастбищами. Но все мысли ее были поглощены в эту минуту ее горем; природа казалась ей бесцветной и непривлекательной. Как раз, когда она входила в старинные монастырские ворота, зазвонили к вечерне, и ей представилось, что это погребальный звон по ее усопшему отцу: мелкие случайности обыденной жизни способны еще более растравлять душу, истомленную отчаянием. Эмилия с трудом поборола овладевавшую ею дурноту; ее ввели к настоятельнице; та встретила ее с материнской нежностью и такой милой заботливостью, что молодая девушка была тронута до слез; слова благодарности замирали на ее губах. Абатиса усадила Эмилию и сама села рядом. Она все время держала ее за руку и молча глядела на нее, пока Эмилия осушала слезы и делала над собой усилие, чтобы заговорить.

– Не падай духом, дочь моя, – молвила аббатиса ласковым голосом, – и не утруждай себя разговорами. Я наперед знаю все, что ты мне скажешь. Душа твоя должна успокоиться. Сейчас мы пойдем на молитву, – не желаешь ли присутствовать на нашем вечернем богослужении? Отраднo, дитя мое, в минуты горести обращаться к Отцу небесному: Он видит, жалеет нас и карает любя.

Слезы Эмилии потекли снова, но к ним примешалось много отрадного. Абатиса дала ей выплакаться вволю и смотрела на нее кротким взором ангела-хранителя. Когда девушка немного успокоилась, аббатиса спросила ее, почему она не соглашается оставить хижину Лавуазена? Выслушав ее объяснение, настоятельница не перечила ей ни единым словом, напротив похвалила ее за любовь к отцу и выразила надежду, что она потом погостит несколько дней в монастыре перед возвращением домой.

– Дай себе срок опомниться от первого удара, дочь моя, иначе тебе трудно будет вынести второй. Не скрою от тебя, что сердце твое будет сильно страдать, когда ты вернешься в дом, где протекла твоя молодая, счастливая жизнь. У нас здесь ты будешь пользоваться всем, что может дать тишина, сердечное сочувствие и религия для успокоения твоего духа. Однако, полно, – прибавила она, заметив, что глаза Эмилии опять наполняются слезами, – пора идти в капеллу.

Эмилия последовала за ней в залу, где собрались монахини; настоятельница представила им Эмилию, сказав:

– Эту девицу я глубоко уважаю, будьте ей сестрами.

Пошли в капеллу; торжественное, благоговейное богослужение возвысило дух Эмилии и принесло ей утешение веры и покорности.

Настали сумерки, а добрая игуменья все не хотела отпустить ее; выйдя из монастыря, Эмилия чувствовала, что ей стало легче на сердце; Лавуазен опять провожал ее по лесу, мрачная тишина которого гармонировала с ее меланхолическим настроением. В задумчивом мол-

чании шла она по узкой лесной тропинке; вдруг ее проводник остановился, стал озираться и повернул с тропинки в высокую траву, говоря, что он сбился с дороги.

Вслед за этим он пошел скорым шагом; Эмилия, едва поспевавшая за ним по неровной, кочковатой местности, крикнула ему, чтобы он погодил.

– Если вы не уверены насчет дороги, – сказала ему Эмилия, – то не лучше ли осведомиться вон в том замке, что виднеется между деревьев?

– Нет, – отвечал Лавуазен, – этого не нужно. Когда мы дойдем вон до того ручья, что сквозит вдали меж стволов, мы будем дома. Не знаю, как это меня угораздило заблудиться! Впрочем, я редко когда забираюсь сюда после солнечного заката.

– Правда, здесь пустынно, – заметила Эмилия, – но ведь у вас не водятся бандитов?

– Нет, барышня, Бог хранит – бандитов не водится.

– Чего же вы боитесь, друг мой? Разве вы суеверны?

– Не суеверен я, а только, сказать по правде, никто у нас не любит проходить мимо замка в сумерки.

– Кто же там живет, что все его трусят?

– Да как вам сказать, барышня, замок-то почти необитаем; наш помещик, маркиз, владец также и этих прекрасных лесов, уже умер. Он не бывал в замке много лет, а его слуги, которым поручено стеречь здание, живут в домике рядом.

Эмилия поняла, что это тот самый замок, на который раньше указывал Лавуазен, как на собственность маркиза Вильруа, причем ее отец так непонятно взволновался.

– Ах! теперь там запустение, – продолжал Лавуазен, – а помнится, какое это было великолепное поместье!

Эмилия спросила о причине такой грустной перемены; но старик молчал. Эмилия, сильно заинтригованная боязнью старика, а больше всего воспоминанием о волнении, обнаруженном ее отцом, повторила вопрос и прибавила:

– Ну, если вы не боитесь обитателей замка и не суеверны, то скажите, почему же вы не решаетесь проходить мимо замка в потемках?

– Пожалуй, что я и суеверен немножко, барышня, и если б вы узнали то, что я знаю, с вами было бы то же самое. Странные здесь творились дела! Видно, ваш покойный батюшка знал маркиза?

– Ради Бога расскажите мне, что там происходило? – попросила Эмилия.

– Полно, барышня, лучше и не допытывайтесь. Не мне разоблачать домашние тайны нашего господина!

Эмилия, удивленная словами и тоном старика, не стала более расспрашивать – ее мысли были заняты другим, более близким предметом, скорбью об отце; кстати, ей пришла на ум музыка, слышанная ею прошлой ночью; она рассказала об этом Лавуазену.

– Не вы одни слышали ее, барышня, – и я слышал тоже, но со мной это случалось так часто, что я даже не удивлялся.

– Вы, кажется, уверены, что эта музыка имеет отношение к замку? – вдруг обратилась к нему Эмилия, – и это внушает вам суеверные страхи?

– Может быть и так, барышня; но есть еще и другие обстоятельства, касающиеся замка: они-то и вызывают у меня грустные воспоминания.

Он тяжело вздохнул. Эмилия из деликатности подавила свое любопытство и не стала спрашивать далее.

По возвращении домой ее опять с новой силой охватило отчаяние: казалось, она освободилась от его тяжелого гнета только на то время, пока находилась вдали от хижины, где лежал ее отец. Тотчас же отправилась она в комнату, где находились дорогие останки, и отдалась безутешному горю.

Лавуазен наконец, уговорил ее отойти от тела и вернуться к себе; там, истомленная страданиями, перенесенными в течение дня, она впала в глубокий сон; проснулась она значительно освеженная.

Настал страшный час прощания Эмилии с телом отца, перед тем как его должны были унести от нее навсегда; она пошла в комнату одна, чтобы еще раз взглянуть на дорогое лицо; Лавуазен, терпеливо дожидавшийся внизу у лестницы, когда утихнет ее отчаяние, не желая мешать ей из уважения к ее горю, наконец, удивился продолжительности ее отсутствия и, опасаясь, не случилось ли чего с нею, решил поступить своей деликатностью и войти.

Постучавшись легонько в дверь и не получив ответа, он стал внимательно прислушиваться – все тихо; не слышно ни вздоха, ни рыдания. Еще более встревоженный молчанием, он отворил дверь и нашел Эмилию распростертой без чувств на полу в ногах кровати, возле которой стоял гроб.

Лавуазен позвал на помощь, и Эмилию перенесли к ней в спальню, где ее вскоре привели в чувство. Пока она лежала в обмороке, Лавуазен распорядился, чтобы закрыли гроб, и ему удалось убедить Эмилию больше не входить к покойнику.

Действительно, она чувствовала полное изнеможение и понимала необходимость беречь свои силы, готовясь к предстоящей тяжелой церемонии.

Сент-Обер перед смертью выразил непереносимое желание, чтобы его похоронили в церкви монастыря Сен Клер, и даже указал в точности место своего успокоения – у северного придела, рядом со старинной семейной гробницей Вильруа.

Настоятель дал на это разрешение; туда-то и двинулся печальный кортеж; у ворот его встретил почтенный игумен с длинной вереницей монахов.

Всякий, кто слышал торжественное пение псалмов, трогательные звуки органа, грянувшие, как только внесли тело в церковь, кто видел Эмилию, которая едва двигалась от слабости, но старалась быть спокойной, тот не мог удержаться от слез. Она не плакала, но шла бодро, с лицом отчасти закрытым черной креповой вуалью, между двух монахинь, поддерживавших ее под руки; впереди нее шествовала сама аббатиса, а позади клирошанки, печальные голоса которых тянули погребальные песнопения.

Когда процессия достигла могилы, пение замолкло. Эмилия плотнее закрыла лицо вуалью; в короткие паузы между антифонами раздавались ее рыдания. Отец игумен начал отпевание; Эмилия опять овладела своими чувствами, до тех пор, пока стали опускать гроб в могилу; когда она услышала стук земли о крышку гроба, она вздрогнула всем телом, из глубины ее сердца вырвался страшный крик, и она упала бы, если бы ее не поддержали лица, стоявшие рядом. Через несколько мгновений она очнулась и, когда услышала трогательные слова: «Прах его погребен с миром и душа его возвратилась к Создателю...», ее сердечная скорбь разлилась потоком слез.

Аббатиса увела ее из церкви в свою приемную и там стала ласкать и утешать. Эмилия всеми силами боролась со своим тяжелым горем. Аббатиса, внимательно наблюдавшая ее, приказала приготовить для нее постель и посоветовала ей сейчас же пойти отдохнуть. При этом она любезно напомнила ей ее обещание погостить несколько дней в монастыре. Эмилия отнюдь не желала возвращаться в дом Лавуазена, где она столько выстрадала; теперь, когда ее не угнетала никакая непосредственная забота, она почувствовала вдруг, что совсем больна и пока не в состоянии выдержать путешествия.

Между тем аббатиса с ее материнской добротой и монахини с их нежной заботливостью всячески старались поднять ее дух и поправить здоровье. Но вследствие духовных потрясений организм ее так сильно расшатался, что его нельзя было восстановить сразу. Эмилия провела несколько недель в монастыре. Ей хотелось поскорее вернуться домой, но она не могла двинуться в путь, так как ослабела от припадков перемежающейся лихорадки; часто, придя на

могилу отца, она не имела силы отойти от нее и находила успокоение в той мысли, что если она умрет здесь, то ее положат рядом с дорогими останками отца.

Тем временем она написала письма госпоже Шерон и старой экономке своих родителей, извещая их о печальном событии и о своем собственном положении. От тетки она получила ответ, полный не столько искреннего чувства, сколько банальных соболезнований; Госпожа Шерон извещала ее, что посылает к ней слугу, чтобы проводить ее домой в «Долину», что же касается ее самой, то время ее слишком занято разными светскими обязанностями, чтобы она могла предпринять такое дальнейшее путешествие.

Хотя Эмилия и предпочитала отцовский замок Тулузе, однако не могла не почувствовать всей бессердечности и даже неприличия поведения тетки, которая позволяла ей вернуться домой, где у нее не оставалось никого, кто мог бы утешить и поддержать ее, – такое решение было тем более странно, что Сент-Обер поручил сестре быть опекуницей его осиротевшей дочери.

Появление слуги госпожи Шерон избавляло доброго Лавуазена от труда провожать Эмилию, и та, глубоко благодарная ему за добрые услуги, оказанные им ее покойному отцу и ей самой, была рада избавить его от необходимости предпринимать такое далекое и в его годы утомительное путешествие.

Во время пребывания ее в монастыре царившие там мир и святость, спокойная красота окружающей природы, нежное обращение аббатисы и монахинь – все это так способствовало успокоению ее духа, что она чуть не поддавалась соблазну совсем покинуть мир, где она потеряла всех близких людей, и посвятить себя служению Богу в обители, для нее священной, где покоился прах ее отца. Под влиянием мечтательного энтузиазма, свойственного ее натуре, священное призвание монахини представлялось ей чем-то необыкновенно прекрасным, и она уже не сознавала всю эгоистичность такого спокойствия. Но по мере того, как дух ее крепнул, впечатление, произведенное на нее монашеской жизнью, начало мало-помалу блекнуть и в ее сердце снова воскрес образ, лишь на время изгладившийся из него. Опять проявилась в ней надежда, успокоение и нежные земные привязанности; картины личного счастья смутно мелькнули в отдалении, и хотя она знала, что это лишь иллюзии, она не могла навеки отогнать их от себя. Воспоминание о Валанкуре, о его уме, художественном вкусе, о чертах его лица, умного и изящного – быть может, одно это воспоминание удержало ее от решимости отказаться от света. Величие и красота природы, среди которой они впервые встретились, очаровали ее воображение и незаметно способствовали тому, чтобы придать еще большую интересность Валанкуру. Сочувствие, которое неоднократно выражал ему Сент-Обер, как бы санкционировало эту симпатию. Но хотя на лице молодого человека и в его обращении постоянно можно было прочесть восхищение ею, однако он никогда не выражал ей своих чувств, и даже надежда когда-нибудь увидеться с ним была так отдалена, что она едва сознавала ее, а еще менее подозревала, что эта надежда влияла на ее решимость в данном случае.

Лишь через несколько дней после приезда слуги госпожи Шерон Эмилия оправилась настолько, чтобы предпринять путешествие в «Долину». Вечером накануне отъезда она пошла попрощаться с Лавуазеном и его семейством и поблагодарить за их гостеприимство. Старика она застала сидящим на скамейке у дверей, между дочерью и зятем, только что вернувшимся с дневной работы и игравшим на дудке вроде гобоя. Возле старика стояла фляга с вином, а перед ним был небольшой столик, уставленный плодами, молоком и хлебом. Вокруг столика собрались его внуки, здоровые, краснощекие ребяташки, которым мать раздавала порции ужина. На краю зеленой лужайки, перед избушкой под деревьями отдыхали коровы и овцы. Всю эту картину озарял мягкий свет заходящего солнца; косые лучи его играли сквозь длинную просеку в лесу и освещали далекие башенки замка. Эмилия остановилась на минуту в отдалении, чтобы полюбоваться счастливой группой – добродушием и довольством, написанным на лице почтенного старика Лавуазена; материнской нежностью Агнессы, смотревшей на своих детей,

на невинность и детскую веселость, отражавшуюся в улыбках ребятишек. Эмилия долго смотрела на доброго старика и его домик. Воспоминание об отце нахлынуло на нее с неудержимой силой, и она поспешно подошла к ним, чтобы не оставаться наедине с самой собою. Ласково и сердечно было ее прощание с Лавуазеном и его семьей; старик, казалось, полюбил ее как дочь родную и, расставаясь, прослезился. Плакала и Эмилия. Она избегала войти в дом, зная, что это пробудит в ней волнения, которых она теперь не в силах была вынести.

Ее ожидала еще одна тяжелая сцена: она решилась посетить в последний раз могилу отца, и чтобы ей никто не помешал, и никто не был свидетелем ее последнего прощания, она решилась пойти туда ночью, когда все обитатели монастыря, кроме монахини, принесшей ей ключ от церкви, удалятся на покой.

Эмилия оставалась в своей келье до тех пор, пока на монастырских часах не пробило полночь; тогда, согласно уговору, явилась монахиня с ключом от внутреннего хода, ведущего в церковь, и они вдвоем спустились по винтовой лестнице.

Монахиня предлагала сопровождать Эмилию до могилы, говоря: «Жутко идти одной в такой час», – но Эмилия, поблагодарив ее, не пожелала, чтобы кто-нибудь был свидетелем ее печали. Сестра отперла дверь, передала ей фонарь и хотела уйти.

– Не забудьте, сестрица, – сказала она, – что в восточном приделе, мимо которого вы пройдете – свежавырытая могила; держите фонарь пониже к полу, а то споткнетесь на комьях взрытой земли.

Эмилия, еще раз поблагодарив, взяла фонарь и вошла в церковь, а сестра Мариетта удалилась.

Но на пороге церкви Эмилия остановилась: внезапный страх овладел ею; она вернулась к подножию лестницы, откуда могла слышать шаги подымавшейся монахини, и, подняв фонарь, увидела ее черное покрывало, развевающееся над спиральными перилами. Одну минуту Эмилии хотелось позвать ее. Но она не решалась, и черное покрывало исчезло. Тогда, устыдившись своих страхов, она вошла в церковь. Холодный воздух охватил ее и заставил вздрогнуть; глубокая тишина и обширность храма, слабо освещенного лунным светом, струившимся сквозь готическое окно, во всякое другое время навевали бы на нее суеверный ужас; но теперь сердце ее было полно одной глубокой скорбью. Она едва слышала шепот эха, вторившего ее шагам, и не вспомнила о вырытой могиле, пока не очутилась на самом краю ее. Вчера там был похоронен один монах, и, сидя вечером одна в своей келье, она слышала в отдалении пение реквиема за упокой его души. В ее памяти ожили все обстоятельства, сопровождавшие смерть ее отца; и в то время, как издали слабо доносились голоса монахов, сливаясь с жалобными звуками органа, в ее душе восставали скорбные, умиленные образы. Теперь она припомнила все это и, повернув в сторону, чтобы избегнуть взрытой земли, ускорила шаги, направляясь к могиле Сент-Обера. Вдруг ей показалось, что в полосе лунного света, падавшего поперек придела, промелькнула какая-то фигура. Эмилия остановилась и прислушалась; но, не слыша шума шагов, подумала, что это обман воображения, и пошла дальше. Сент-Обер был погребен под простой мраморной плитой, на которой было написано только его имя, даты рождения и смерти; эта плита находилась у подножия величественного памятника фамилии Вильруа. Эмилия оставалась над могилой отца до тех пор, пока звон к заутрене не напомнил ей, что пора уходить. Она поплакала еще, прощаясь с могилой, и наконец, крепя сердце, удалилась. Отдав этот последний долг отцу, она в первый раз после его смерти заснула крепким, освежающим сном; а когда проснулась, на душе у нее было спокойно и ясно, как уже давно не бывало.

Но вот настала минута отъезда из монастыря. Ее горе вернулось к ней с новой силой; память об умершем, доброта и участие живых людей привязывали ее к этому месту; а к священной земле, где были погребены останки ее отца, она чувствовала почти такую же нежную любовь, какую мы чувствуем к своему родному дому. Аббатиса, не раз повторив ей при прощании уверения в нежной дружбе, настоятельно просила Эмилию вернуться к ним, если ей не

понравится ее новое местожительство; многие из монахинь также выражали искреннее сожаление по поводу ее отъезда. Эмилия рассталась с монастырем, проливая слезы и сопровождаемая пожеланиями счастья.

Несколько лье проехала она в задумчивости; даже красота местности, по которой она ехала, долго не могла вывести ее из глубокой меланхолии, но все эти живописные виды только напоминали ей, что она еще недавно любовалась ими вместе с Сент-Обером. Так прошел весь день в тоске и томлении, не ознаменовавшись ничем особенным. Ночь она провела в городке на окраинах Лангедока, а на другое утро путешественники вступили в Гасконь.

К концу того же дня Эмилия увидела перед собой равнины, поля и рощи, знакомые ей с детства, а вместе с ними в ней проснулись нежные и горестные воспоминания.

– Вот они! – восклицала она, – вот они те же самые утесы, те самые сосновые леса, на которые он смотрел с таким восхищением, когда мы с ним последний раз ехали вместе по этой дороге! Вон там, под выступом скалы, стоит хижина, выглядывая из-за кедров, – он велел мне запомнить ее и срисовать в мой альбом! О батюшка, никогда, никогда я больше не увижу тебя!

По мере того, как она приближалась к замку, эти печальные воспоминания о былых временах все умножались. Наконец показался замок среди живописной местности, так горячо любимой Сент-Обером. При этом зрелище она почувствовала, что ей следует призвать на помощь всю свою твердость и не давать волю слезам. Она отерла глаза и приготовилась спокойно вынести ужасную минуту возвращения домой, где уже не встретит ее любящий родитель. «Да, – думала она про себя, – я не должна забывать его уроков! Как часто, бывало, он указывал мне на необходимость бороться даже с законным, понятным горем! Как часто мы вместе с ним восхищались величием ума, способного в одно и то же время и страдать, и рассуждать! О, отец мой! Если дозволено тебе бросить взгляд вниз, на твою дочь, тебя порадует, что она помнит твои заветы и старается исполнять их!»

За поворотом дороги замок стал виден еще яснее: трубы его, озаренные солнцем, возвышались из-за любимых дубов Сент-Обера, густая листва которых скрывала всю нижнюю часть здания. Эмилия не могла подавить тяжелого вздоха. «Этот час вечерний как раз был его любимым часом! – подумала она, глядя на длинные вечерние тени, тянувшиеся по лугу. – Какой глубокий покой! что за прелестная картина – тихая и радостная, как и в прежние дни!»

В эту минуту слух ее уловил веселую плясовую мелодию, которую она часто, бывало, слышала прежде, гуляя с Сент-Обером на берегах Гаронны; тут уже твердость духа окончательно покинула ее и она продолжала плакать все время, пока экипаж не остановился у небольших ворот, ведущих в имение, теперь уже составлявшее ее личную собственность. При неожиданной остановке кареты она подняла глаза и увидела старую экономку отца, спешившую отворить ворота. Перед ней с громким лаем бежал пес Маншон, и когда его молодая госпожа вышла из экипажа, он начал прыгать вокруг нее и махать хвостом, задыхаясь от радости.

– Барышня, дорогая моя! – встретила ее Тереза и остановилась, точно собираясь сказать что-нибудь в утешение Эмилии, которая от слез не в силах была отвечать. Собака продолжала скакать и ластиться к ней, потом вдруг бросилась к экипажу с отрывистым лаем.

– Ах, барышня, бедный мой господин! – молвила Тереза, женщина добрая, но не имевшая понятия о деликатности. – Вот и Маншон побежал искать его!

Эмилия громко разрыдалась; взглянув в сторону кареты, все еще стоявшей с отворенной дверцей, она увидела, как собака вскочила внутрь кареты, но тотчас же выскочила оттуда и, пригнув нос к земле, стала бегать вокруг лошадей.

– Не плачьте, барышня, – говорила Тереза. – У меня сердце надрывается, на вас глядячи!

Между тем собака начала кружить вокруг Эмилии, потом бросилась опять к карете и назад к своей госпоже с тихим визгом.

– Бедная собака! – молвила Тереза, – ты тоскуешь по своему хозяину. Однако войдите же в комнаты, барышня, успокойтесь. Чем мне угощать вас?

Эмилия подала руку старой служанке и сделала над собою усилие, чтобы подавить свою скорбь, заботливо осведомляясь о ее здоровье. Но она нарочно замешкалась в аллее, ведущей к крыльцу, потому что в доме уже некому было приветствовать ее нежным поцелуем; ее сердце уже не трепетало, как прежде, от нетерпеливого предвкушения встречи и улыбки на дорогом лице; ей жутко было увидеть предметы, которые живо напомнят о былом счастье. Она медленно пошла к дому, и опять остановилась. Как тихо, как пустынно и печально в доме! Трепеща войти в него, однако упрекая себя в малодушии, она, наконец, вошла в прихожую, прошла по ней торопливыми шагами, точно боясь оглядываться, и отворила дверь той комнаты, которую она привыкла называть своей. Вечерний сумрак придавал торжественность тишине и пустоте этой комнаты. Стулья, столы, все предметы обстановки, столь знакомые ей в более счастливые времена, красноречиво зывали к ее сердцу. Она села, сама того не замечая, у окна, выходящего в сад, и где, бывало, часто сживал с ней Сент-Обер, наблюдая, как заходит солнце за рошу!

Проплакав некоторое время, она немного успокоилась; и когда вернулась Тереза, наблюдавшая, чтобы багаж внесли в спальню ее барышни, она уже настолько оправилась, что могла разговаривать с ней.

– Я приготовила вам постель в зеленой комнате, барышня, – заявила Тереза, ставя кофе на стол, – вам теперь приятнее будет спать там, чем на своей прежней постели. Эх, думала ли я месяц тому назад, что вы вернетесь сюда одна-одинешенька! У меня сердце чуть не разорвалось от горя, когда получилось печальное известие. Кто бы мог себе представить, что мой добрый барин уже никогда не вернется!

Эмилия закрыла лицо платком и махнула рукой.

– Выпейте кофе, – угощала ее Тереза. – Дорогая моя барышня, не убивайтесь! – мы все ведь умрем. Мой дорогой барин – теперь святой на небесах.

Эмилия отняла платок от лица и подняла к небу глаза свои, полные слез. Вскоре, однако, она осушила их и спокойным, хотя и дрожащим голосом стала расспрашивать о некоторых пенсионерах ее покойного отца.

– Ах, и не говорите! Горе горькое! – плакалась Тереза, наливая кофе и подавая чашку своей молодой госпоже, – кто только мог приплестись, те все навевывались сюда каждый Божий день узнавать про вас и про барина.

Далее она рассказала, что многие из тех, кого они оставили здоровыми, успели умереть, а напротив – другие, хворавшие – поправились.

– Смотрите-ка, барышня, – прибавила Тереза, – вон старая Мария плетется сюда по саду. Вот уже три года как всем кажется, что она того и гляди умрет, а она все живет себе да живет. Небось увидела дорожную карету у ворот и сообразила, что это вы вернулись домой.

Эмили было бы слишком тяжело видеться с этой бедной старухой, и она попросила Терезу пойти сказать ей, что барышня чувствует себя худо и никого не может принять сегодня вечером.

– Завтра мне будет лучше, надо думать; но передай ей эту безделицу в знак того, что я ее не забыла.

Некоторое время Эмилия сидела погруженная в немую скорбь. Не было предмета, который не возбуждал бы в ней воспоминания, имеющего близкое соприкосновение с ее горем. Ее любимые растения, за которыми Сент-Обер учил ее ухаживать, рисунки, украшавшие стены и исполненные ею под его руководством; книги, которые он сам выбрал для нее и которые они читали вместе; ее музыкальные инструменты, услаждавшие его слух, – каждый предмет еще более растревлял ее печаль. Наконец она очнулась от этих грустных размышлений и, призвав на помощь всю свою решимость, направилась твердыми шагами в опустелые покои; хотя она страшилась войти в них, но сознавала, что потом ей будет еще тяжелее посетить их.

Пройдя через оранжереи и отворяя дверь библиотеки, она почувствовала, что силы изменяют ей; быть может, вечерний сумрак и тень от деревьев, растущих под окнами еще усиливали торжественность ее настроения, когда она входила в комнату, где все говорило ей об отце. Вот кресло, где он обыкновенно сидел. Она вздрогнула, увидев его: образ отца рисовался в ее воображении с такой ясностью, что ей показалось, будто она действительно видит его перед собою. Она отогнала от себя иллюзии расстроенного воображения, однако не могла подавить некоторого трепета, тихо подошла к креслу и села. Перед креслом стоял пюпитр для чтения, а на нем лежала развернутая книга, в том виде, как она была оставлена ее отцом. Несколько минут она не могла собраться с мужеством, чтобы рассмотреть ее; она тотчас же вспомнила, что Сент-Обер накануне их отъезда из замка вечером читал ей вслух некоторые выдержки из своего любимого автора. Теперь это обстоятельство подействовало на нее потрясающим образом: она глядела на страницу и горько плакала. Для нее эта книга являлась священной и неопределимой; ни за какие сокровища в мире она не согласилась бы перенести ее на другое место или перевернуть страницу. Она продолжала сидеть перед пюпитром и не решалась уйти, хотя гущающийся сумрак и глубокая тишина в комнате усиливали в ней жуткое чувство. Опять она погрузилась в размышления о состоянии душ после смерти; она вспоминала знаменательный разговор, происходивший между Сент-Обером и Лавуазеном в ночь накануне смерти отца.

Погруженная в думы, она вдруг заметила, что дверь тихо отворяется; какой-то шорох в отдаленной части комнаты заставил ее вздрогнуть. В потемках ей показалось, как будто что-то движется. При теперешнем состоянии ее духа, когда малейшее впечатление внешних чувств передавалось ее воображению, ее вдруг охватил суеверный ужас. С минуту она сидела не шевелясь. Наконец рассудок одержал верх: «Чего же бояться? – сказала она себе, – если души любимых существ посещают нас, то наверное, только с добрыми намерениями».

Среди наступившей, снова тишины она устыдилась своих страхов и подумала, что это был просто обман воображения или один из тех необъяснимых звуков, которые иногда слышатся в старых домах. Но вот повторился тот же шорох – что-то стало приближаться к ней – она вскрикнула... но в ту же минуту опомнилась, убедившись, что это собака Маншон, которая уселась у ее ног и теперь ласково лизала ей руку.

Эмилия поняла, что при таком состоянии духа она не в силах исполнить намеченную задачу: осмотреть сегодня же все покои замка; поэтому вышла из библиотеки в сад, а оттуда направилась к террасе над рекой. Солнце уже закатилось; но из-за темных ветвей миндальных деревьев еще сквозила на западе светло-шафранная полоса; летучая мышь беззвучно сновала взад и вперед; от времени до времени раздавалась грустная песня соловья.

Настроение, охватившее ее в этот тихий час, вызвало в ее памяти строки, слышанные ею когда-то от Сент-Обера на этом самом месте, и она повторила их с какою-то грустной отрадой:

Сонет

Летучая мышь кружится в воздухе, когда вечерний ветерок
Порывами проносится вдоль вздрагивающих волн,
Трепещет среди лесов и вздохами своими путника смущает.
Порою, когда он погружен в чарующую меланхолию.
Вдруг чудится ему, что он слышит голос горного духа,
И он внимает с сладко замирающим сердцем
Тихому мистическому шепоту бриза!
Летучая мышь кружится в воздухе; безмолвно падает вечерняя
роса
И сумерки повсюду проливают
Над скалами, волною и над далекой лодкой
Свой мягкий, серый и таинственный покров.
Так падает над горем сострадания слеза,
Виденья мрачные отчаяния застилая.

Эмилия тихим шагом дошла до любимого платана ее отца; под тенью этого старого дерева они, бывало, сиживали все вместе в такой же час и беседовали на тему о загробной жизни. Как часто ее отец с радостным чувством выражал уверенность, что все они встретятся в ином мире! Подавленная этими воспоминаниями, Эмилия отошла от платана; облокотившись о перила террасы, она увидела группу крестьян, весело танцевавших на берегах Гаронны, широко раскинувшейся внизу и отражавшей в своих водах вечернее небо. Какой контраст со скорбящей, одинокой Эмилией! Эти люди веселы и бодры, точно так же как и в те дни, когда у нее было радостно на душе и когда Сент-Обер, бывало, слушал их веселую музыку, сияя удовольствием и лаской. Эмилия, полюбовавшись некоторое время на оживленную группу, отвернувшись, не имея сил вынести тяжелых воспоминаний; но куда уйти, куда скрыться, если всюду ей суждено наталкиваться на предметы, растрavляющие ее горе!

Подвигаясь медленным шагом по направлению к дому, она встретила Терезу.

– Барышня, милая, – заговорила старуха, – я давно ищущу вас и боялась, не случилось ли с вами беды какой! Ну, можно ли бродить по ночам, да еще когда так свежо? Скорее идите домой. Подумайте-ка, что сказал бы на это покойный барин? Уж кажется – он ли не горевал, когда скончалась барыня, а между тем, сами знаете, он редко когда проливал слезу.

– Перестань, Тереза, прошу тебя, – сказала Эмилия, желая прервать эту неуместную, хотя и добродушную болтовню.

Но не так-то легко было остановить разглагольствования Терезы.

– Бывало, когда вы так убивались по маменьке, – продолжала она, – барин все говорил вам, что это не годится, потому что ее душеньке хорошо теперь на небе! А если ей хорошо, то, значит, и барину хорошо, – недаром говорится, что молитвы бедняков угодны Богу.

Во время этой речи Эмилия тихонько шла к дому. Тереза посветила ей в прихожей у гостинной, где обыкновенно сиживала вся семья и где она теперь накрыла ужин на один прибор. Эмилия бессознательно вошла в комнату, прежде чем успела заметить, что она не у себя в спальне. Подавив в себе неприятное чувство, она покорно села за стол. На противоположной стене висела шляпа ее отца: при виде шляпы она почувствовала, что ей делается дурно. Тереза взглянула на свою барышню, потом перевела взгляд на предмет, висевший на стенке, и хотела убрать шляпу, но Эмилия остановила ее движением руки.

– Нет, оставь, – я пойду к себе.

– Как же так! а у меня ужин готов!

– Я не могу есть, – отвечала Эмилия, – я уйду и постараюсь заснуть. Завтра мне будет лучше.

– Ну, уж это не порядок! Милая барышня, скушайте хоть что-нибудь. Я зажарила фазана, – чудесная птица. Старый месье Барро прислал ее вам нынче поутру; вчера я видела его и сказала, что вы сегодня приезжаете. Вот уж никто так не сокрушается о барине, как этот господин...

– В самом деле? – отозвалась Эмилия смягченным тоном, чувствуя, что ее бедное сердце на минуту согрето этим лучом сочувствия.

Наконец силы окончательно изменили ей, и она удалилась в свою спальню.

Глава 9

*Ни голос музыки, ни очи красоты,
Ни живописи пылкая рука
Не смогут дать моей душе такой отрады,
Как этот мрачный ветра вой,
Журчанье жалобное ручейка,
Струящегося меж муравы зеленого холма
В то время, как на запад багровое заходит солнце,
Тихонько сумерки плывут, свой черный распустивши парус.*

Мезон

Вскоре по возвращении домой Эмилия получила от своей тётки, госпожи Шерон, письмо, в котором та, после нескольких банальных фраз утешения, приглашала ее к себе в Тулузу, прибавляя, что покойный брат доверил ей воспитание Эмилии. У Эмилии в это время было одно желание: остаться в «Долине», где протекло ее счастливое детство, пожить еще в этом замке, бесконечно дорогом ее сердцу, и вместе с тем ей не хотелось возбуждать неудовольствие госпожи Шерон.

Хотя глубокая привязанность ее к покойному отцу не позволяла ей усомниться ни на минуту в том, хорошо ли он сделал, назначив госпожу Шерон опекуницей, но она не могла не сознавать, что теперь ее счастье в значительной степени поставлено в зависимость от прихоти ее тетки. В своем ответном письме она просила позволения остаться пока в «Долине»; она ссылалась на угнетенное состояние духа и на необходимость тишины и уединения для успокоения ее нервов. Она знала, что ни того, ни другого не может найти в доме госпожи Шерон, женщины богатой, любящей общество и рассеянную жизнь.

Вскоре Эмилию навестил старик Барро, искренне скорбевший о смерти Сент-Обера.

– Еще бы мне не печалиться о вашем отце, – говорил он. – Ведь я уже никогда не встречу друга, подобного ему; если б я знал, что найду такого человека в так называемом обществе, я ни за что не удалился бы от света.

За такое теплое чувство к ее отцу Эмилия любила старика. Ей отраднее было беседовать с человеком, которого она так уважала, и который при своей непривлекательной наружности отличался сердечной добротой и редкой деликатностью чувств.

Несколько недель Эмилия провела в спокойном уединении, и мало-помалу ее острое горе перешло в тихую грусть. Теперь она уже могла читать те самые книги, какие раньше читала с отцом, сидела в его кресле в библиотеке, ухаживала за цветами, посаженными его рукой, могла касаться струн музыкального инструмента, на котором он когда-то играл, и даже пела его любимые песни. Тут только она поняла всю ценность воспитания, полученного ею от отца; развивая ее ум, он обеспечил ей верное убежище от скуки, доставил ей возможность всесторонне развлекаться, независимо от общества, для нее недоступного в силу обстоятельств. Благотворительное действие этого воспитания не ограничивалось эгоистическими преимуществами; Сент-Обер усердно развивал в ней все добрые качества сердца, и теперь это сердце распространяло благодеяния на всех окружающих. Она находила, что если и не в состоянии совершенно устранить несчастья от своих ближних, то, по крайней мере, может смягчать их страдания своей добротой и сочувствием. Госпожа Шерон не отвечала на письмо Эмилии и та начала уже надеяться, что ей позволят остаться еще некоторое время в ее уединении. Ее дух уже настолько укрепился, что она могла отважиться посещать все те места, которые особенно живо вызвали ей на память картины прошлого. В числе их была рыбацья хижина; чтобы еще полнее отдаться своим нежным воспоминаниям, она захватила с собой свою лютню – ей хотелось сыграть там те самые мелодии, которыми так часто восхищались ее мать и отец. В

последний раз она приходила сюда с отцом и матерью, за несколько дней до того, как заболела госпожа Сент-Обер, и теперь, когда Эмилия вошла в лес, окружающий хижину, все так живо пробудило в ней память о прошлом, что она не выдержала: прислонилась к дереву и несколько минут проплакала. Узкая тропинка, ведущая к домику, заросла травой, а цветы, посаженные по краям Сент-Обером, были почти заглушены крапивой. Эмилия часто останавливалась и оглядывала это заброшенное местечко, пустынное и безмолвное. И когда она дрожащей рукой отворила дверь рыбацкой хижины, у нее вырвалось восклицание: «Ах, ничто не изменилось, все осталось по-старому; только те, которые посещали этот домик, уже никогда не вернуться!»

Она подошла к окну, выходящему на речку и, облокотившись о подоконник, погрузилась в грустную задумчивость. Принесенная лютия лежала возле нее, забытая: печальные вздохи бриза в высоких соснах, нежный шепот его в камышах, колышущихся на берегу, были музыкой, более гармонизировавшей с ее чувствами; эта музыка не заставляла звенеть струны тяжелых воспоминаний, но успокоительно действовала на ее сердце, как голос сочувствия. Не замечая, что приближались сумерки и что последний луч солнца трепетал на горных вершинах, она продолжала стоять в задумчивости и, вероятно, долго не тронулась бы с места, но вдруг шум шагов около домика встревожил ее и напомнил, что она здесь одна и беззащитна. Не прошло минуты, как дверь распахнулась; вошел какой-то человек, остановился при виде Эмилии и начал извиняться за свое непрошеное появление. Но у Эмилии при первом звуке его голоса страх сменился сильным волнением; голос был знаком ей, и хотя она не могла в потемках разглядеть черты пришельца, но ее охватило предчувствие чего-то радостного.

Вошедший повторил свои извинения, и Эмилия что-то проговорила ему в ответ; тогда незнакомец стремительно бросился к ней и воскликнул:

– Боже милостивый! может ли это быть! неужели я ошибаюсь – это вы, мадемуазель Сент-Обер!

– Да, это я, – отвечала Эмилия, догадка которой подтвердилась: теперь она могла разглядеть лицо Валанкура, сиявшее светлой радостью. Сразу ее осадил целый рой грустных воспоминаний, и от стараний сдержать себя волнение ее еще усиливалось.

Между тем Валанкур участливо осведомлялся о ее здоровье и выразил надежду, что путешествие принесло пользу ее батюшке, но, увидав горькие слезы, он угадал роковую истину. Он усадил ее на скамью и сам сел с ней рядом; Эмилия продолжала плакать, а он держал ее руку, которую она бессознательно оставляла в его руке, пока рука стала мокрой от слез, которые он проливал, грустя о Сент-Обере и жалея его дочь.

– Я сознаю, – проговорил он, – как бесполезна была бы всякая попытка утешать вас. Я могу только печалиться вместе с вами, потому что без слов знаю, о чем вы плачете... Дай Бог, чтобы я ошибался!

Эмилия отвечала слезами, но наконец, встала и предложила уйти из этого печального места. Валанкур, хотя и видел, как она слаба, не решился удерживать ее, но взял ее под руку и повел вон из рыбацкой хижины. Молча пошли они по лесу; Валанкуру хотелось узнать все подробности, но он боялся спрашивать, а Эмилия была слишком расстроена, чтобы рассказывать. Через некоторое время, однако, она настолько овладела собой, что могла заговорить о своем отце и в коротких словах рассказать о его смерти. Валанкур был потрясен. Услышав, что Сент-Обер скончался в дороге и что Эмилия очутилась среди чужих людей, он пожал ее руку и невольно воскликнул:

– Господи, отчего меня там не было!

Наконец, заметив, что Эмилия слишком измучена горестными воспоминаниями, он постепенно перевел разговор на другие темы и заговорил, между прочим, о себе. Эмилия узнала, что после того, как они расстались, Валанкур некоторое время бродил по берегам Средиземного моря и потом через Лангедок вернулся в Гасконь, свою родную провинцию, где он обыкновенно жил.

Докончив свой маленький рассказ, он умолк; Эмилия тоже не расположена была разговаривать, и так молча они дошли до ворот замка; здесь он остановился и, сказав ей, что завтра едет домой в Этювьер, попросил у нее позволения завтра утром зайти к ней проститься. Эмилия, рассудив, что неловко было бы отказать ему в исполнении такой простой учтивости, отвечала, что она будет дома.

Весь вечер она провела в печали. В ее памяти проносились вереницей все события, случившиеся после того, как она в последний раз видела Валанкура, и сцена смерти ее отца восстала перед ней в таких живых красках, как будто это случилось лишь вчера. Припомнился ей и торжественный завет отца уничтожить все его рукописи. Очнувшись от истерического состояния, в каком держало ее горе, Эмилия ужаснулась при мысли, что она не исполнила еще его предсмертного распоряжения, и решила, что завтра же сдержит свое обещание.

Глава 10

*Но это тень не тень от летней тучки
И как ей странностью не поразить?*

Макбет

На другое утро Эмилия приказала затопить печку в бывшей спальне Сент-Обера и тотчас же после завтрака отправилась туда с намерением сжечь бумаги. Запершись на ключ, чтобы никто ей не помешал, она отворила дверь в соседнюю комнату, где находились бумаги. Войдя туда, она почувствовала непривычный страх и несколько минут озиралась, дрожа всем телом. В одном углу комнатки стояло большое кресло, а перед ним стол, за которым сидел отец ее в тот памятный вечер, накануне их отъезда, и в сильном волнении рассматривал бумаги.

Уединенная жизнь Эмилии за последнее время, печальные мысли постоянно угнетали ее расстроенные нервы. Ее обыкновенно здравый рассудок посещали суеверные бредни, которые имеют свойство сбивать с толку человека и приводить его в состояние, близкое к временному безумию. После возвращения ее домой с ней несколько раз повторялись такие припадки: блуждая по опустелому дому в сумерках, она чего-то пугалась, ей чудились какие-то призраки. Такому же болезненному возбуждению нервов она приписала и теперешний случай: когда она еще раз взглянула на кресло, стоявшее в темном углу чулана, ей представилось, что она ясно видит в нем фигуру отца.

Эмилия постояла несколько минут, как пригвожденная к полу, затем бросилась вон из комнатки. Но вскоре она оправилась и стала укорять себя в слабости, мешавшей ей исполнить дело такой важности; опять отворила она дверь каморки. Руководствуясь указаниями Сент-Обера, она легко отыскала доску, о которой он говорил, в углу у окна. Она нашла и черту, о которой он говорил ей, прижала ее ногой – доска подалась; под нею обнаружилась связка бумаг и кошелек с золотыми. Дрожащей рукой Эмилия вынула все это, приладила доску на прежнее место и уже хотела встать с пола, как вдруг ей показалось, что она опять видит знакомую фигуру в кресле. Эта иллюзия произвела на нее потрясающее впечатление: она бросилась вон из комнатки в спальню и почти без чувств упала на стул.

Рассудок скоро рассеял эту страшную, гнетущую игру воображения, и Эмилия опять вернулась к бумагам, но еще настолько мало владела собой, что глаза ее машинально скользили по исписанным листам; в эту минуту она не сознавала, что нарушает строгое запрещение отца – вдруг попавшаяся ей на глаза фраза, имевшая глубокий, страшный смысл, сразу пробудила ее внимание и вместе с тем ее память. Она поспешно оттолкнула от себя бумаги, но не могла выбросить из головы тех полных значения слов, которые возбудили в ней ужас и любопытство. Эти слова так сильно взволновали ее, что она даже не могла решиться сразу сжечь бумаги, и чем дальше она останавливалась на этом, тем более это обстоятельство разжигало ее воображение. Побуждаемая пламенным и вполне понятным любопытством ближе разузнать все касающееся нечаянного, таинственного разоблачения, она даже пожалела, зачем обещала отцу уничтожить эти бумаги. Одно мгновение она сомневалась, следует ли по справедливости повиноваться такому приказанию, вопреки доводам, заставляющим ее продолжать исследование тайны. Но это затмение длилось недолго. «Я дала торжественное обещание отцу, – сказала она самой себе, – обещание исполнить его предсмертный завет – мое дело не рассуждать, а повиноваться. Надо поскорее удалить от себя всякий соблазн, иначе я поступлю дурно и буду весь свой век мучиться сознанием непоправимой вины». Подкрепленная сознанием долга, она окончательно победила искушение, самое сильное, какое ей когда-либо приходилось испытывать в жизни, и бросила бумаги в огонь. Глаза ее следили за тем, как пламя медленно истреб-

ляло их: она вздрогнула, вспомнив о только что прочтенной фразе и подумав, что теперь навеки ускользает единственный случай когда-либо разяснить тайну.

Лишь долго спустя после этого она вспомнила о кошельке и уже хотела, не открывая его, положить в шкаф, как вдруг заметила, что в нем заключается какой-то предмет, размерами побольше монеты; поэтому она принялась рассматривать содержимое кошелька. «Его рука касалась этих монет, – говорила она, целуя их и обливая слезами, – его рука, теперь уже истлевшая, обратившаяся в прах». На дне кошелька оказался небольшой пакетик, завернутый в несколько бумаг; развернув его, она увидела, что там заключается футляр с женским портретом. Эмилия вздрогнула. «Это тот самый портрет, над которым в тот вечер плакал мой отец!», – сказала она. Рассматривая черты, изображенные на портрете, она подумала, что не знает этой женщины – это было лицо редкой красоты, полное кротости и грустной покорности судьбе.

Сент-Обер не давал никаких распоряжений относительно миниатюры и даже не упомянул о ней; поэтому Эмилия сочла себя вправе сохранить портрет. Вспомнив, каким тоном он говорил о маркизе Вильруа, Эмилия была склонна думать, что это ее портрет; но все-таки не видно было причины, почему ее отец хранил у себя портрет этой дамы, и, храня его, грустил и плакал над ним, как в тот вечер, накануне отъезда.

Эмилия долго не отрывалась от миниатюры и не могла дать себе отчета, что именно так чарует и привлекает ее в этом лице, внушая ей нежность и жалость. Темно-каштановые волосы незнакомки небрежно вились вокруг чистого, открытого лба; нос был с легкой горбинкой; на устах витала улыбка, но улыбка грустная; голубые глаза были устремлены к небу с выражением небесной кротости; легкое облако грусти на челе выдавало чуткую, чувствительную душу.

Рассматривая портрет, Эмилия была выведена из задумчивости стуком калитки; выглянув в окно, она увидела Валанкура, идущего к замку. Она была так взволнована только что пережитым, что почувствовала себя неподготовленной к этому свиданию, и несколько минут оставалась в бывшей спальне отца, стараясь немного оправиться.

Встретив Валанкура в зале, она была поражена его видом, до такой степени он изменился с того времени, как они расстались в Руссильоне; вчера в сумерках она не могла этого заметить. Но томность и уныние мгновенно сменились улыбкой, озарившей его черты, лишь только она появилась.

– Как видите, – начал он, – я воспользовался вашим позволением прийти попрощаться с вами.

Эмилия слабо улыбнулась и, чтобы сказать что-нибудь, спросила, давно ли он в Гаскони?

– Всего несколько дней, – отвечал Валанкур и щеки его покраснели. – Я предпринял длинную прогулку, расставшись со своими друзьями после восхитительного путешествия в Пиренеях...

При этих словах у Эмилии навернулись слезы на глазах; заметив это, Валанкур, желая отвлечь ее от печальных воспоминаний, им же вызванных, и браня себя за неосторожность, начал говорить о другом, между прочим, восхищался замком и его окрестностями.

Эмилия, затрудняясь поддерживать разговор, обрадовалась такому случаю заговорить о чем-нибудь постороннем. Они прошли по террасе. Валанкур был в восторге от живописности реки и видов на противоположном берегу Гаронны.

Прислонясь к каменной ограде террасы и любуясь быстрым течением Гаронны, он говорил Эмилии:

– Несколько недель тому назад мне случилось быть у истоков этой прекрасной реки; тогда я не имел счастья знать вас, а то я пожалел бы, что вы не видите этой картины, совершенно в вашем вкусе. Река берет начало в местности Пиренейских гор, еще более величественной и дикой, чем та, по которой мы ехали, направляясь в Руссильон.

Он описал, как Гаронна узким ручьем низвергается через пропасти в горах, затем как в нее вливаются воды множества потоков, струящихся из снеговых вершин, и как она стреми-

тельно мчится в долину Арана, пенясь, несется между романтических высот, пока, наконец, не достигает равнин Лангедока; там, омывая стены Тулузы, она поворачивает опять к северо-западу, принимает более мирный характер, оплодотворяет пастбища Гаскони и Гиенны и наконец, вливается в Бискайский залив.

Эмилия и Валанкур беседовали о местностях, которые они посетили вместе в Пиренейских Альпах; в голосе Валанкура часто сквозила робкая нежность; порою он описывал картины природы с пылким, увлекательным талантом, порою он как будто терял нить своего рассказа, хотя все продолжал говорить.

Эти описания невольно наводили Эмилию на воспоминания об отце; образ его оживал во всех картинах, воспроизводимых Валанкуром; ей слышались слова и замечания отца, она видела перед собой, как живое, его восторженное лицо. Молчаливость Эмилии наконец, напомнила Валанкуру, что его рассказы слишком близко задевают предмет ее скорби, и он незаметно перевел разговор на другую тему, хотя тоже не менее тяжелую для Эмилии: он стал хвалить величественный платан, простиравший свой шатер над террасой, где они теперь сидели; Эмилии вспомнилось, как они, бывало, сживали здесь с отцом и как он почти в тех же словах выражал свой восторг.

– Это было любимое дерево моего дорогого отца, – проговорила она, – ему нравилось по вечерам сидеть под тенью платана, окруженному своим семейством.

Валанкур понял ее чувства и молчал; если б она подняла глаза свои, потупленные в землю, она увидела бы слезы на его глазах. Он встал и прислонился к ограде террасы, но тотчас же отошел прочь и сел на прежнее место; через минуту он опять вскочил и казался сильно взволнованным. Между тем Эмилия чувствовала себя до того расстроенной, что, несмотря на все попытки завязать разговор, это ей никак не удавалось. Валанкур снова сел, но продолжал молчать и дрожал всем телом. Наконец он проговорил нерешительным голосом:

– И с этим прелестным уголком я должен расстаться, должен проститься с вами... быть может, навеки! Эти минуты уже никогда больше не вернуться! Позвольте же мне, по крайней мере, не оскорбляя вашей глубокой скорби, выразить все мое восхищение вашей добротой! Я не забуду ее! О! если б когда-нибудь, в будущем, мне позволено было назвать это чувство любовью!

Эмилия от волнения не могла отвечать; Валанкур, решившись взглянуть на нее, заметил, что она переменилась в лице; опасаясь обморока, он сделал невольное движение, чтобы поддержать ее. Это заставило Эмилию очнуться и овладеть собой. Валанкур притворился, что не замечает ее нездоровья, но когда он заговорил, в голосе его выразилась скрытая нежность.

– Я больше не осмелюсь, – сказал он, – касаться этого предмета; но позвольте мне сказать, что эти минуты разлуки утратили бы свою горечь, если б мне дана была надежда, что я, несмотря на мое признание, не буду изгнан из вашего присутствия на будущее время.

Она сделала над собой усилие, чтобы овладеть своими смятенными чувствами и заговорить. Она боялась довериться своему сердцу, которое рвалось навстречу Валанкуру, и подать ему надежду после столь короткого знакомства; хотя даже в этот небольшой срок она успела заметить в нем много достоинств и, хотя эти наблюдения подкрепились добрым мнением ее отца о молодом человеке, но все же этого было еще мало, чтобы побудить ее принять решение, бесконечно важное для ее будущего счастья. Правда, мысль о том, чтобы отказать Валанкуру, была ей очень тяжела, почти невыносима; это сознание заставляло ее опасаться пристрастности своего суждения, и она тем более не решалась поощрить это признание, на которое так нежно отзывалось ее сердце. Семья Валанкуров была знакома ее отцу; она пользовалась безукоризненной репутацией. Что касается материальных обстоятельств самого Валанкура, то он намекнул на них, насколько позволяла деликатность, сказав, что пока он не может предложить ей ничего, кроме нежно любящего сердца. Он молил только об одном, чтобы ему дали, хотя отдаленную надежду. Эмилия не могла решиться отнять эту надежду, хотя не осмеливалась

и поддерживать ее. Наконец она собралась с силами и отвечала ему, что она очень дорожит добрым мнением человека, которого уважал ее отец.

– Значит, он считал меня достойным уважения? – произнес Валанкур голосом, дрожащим от волнения. Потом, одумавшись, прибавил: – Простите мой вопрос, я не знаю, что говорю... Если б я только мог надеяться, что вы считаете меня достойным его симпатии и позволите мне иногда осведомляться о вашем здоровье, тогда я удалился бы сравнительно спокойный.

После короткого молчания Эмилия сказала:

– Я буду с вами откровенна, зная, что вы поймете мое положение и мою откровенность примете за доказательство моего... уважения к вам. Хотя я живу здесь в доме покойного батюшки, но живу здесь одна. Увы, у меня уже нет отца... отца, присутствие которого могло бы оправдать ваши посещения. Мне нечего объяснять вам, насколько мне неприлично принимать вас у себя.

– Будьте уверены, что я вполне понимаю вас. Но что же утешит меня за мою покорность? – прибавил Валанкур с грустью. – Простите, я расстраиваю вас, я готов оставить этот разговор, если вы дадите мне разрешение когда-нибудь явиться к вашим родным.

Эмилия опять смутилась и не знала что отвечать. Она особенно сильно сознавала всю трудность и беспомощность своего положения; у нее не было на свете ни единого человека – родственника или друга, к кому она могла бы обратиться за поддержкой и советом в теперешних трудных обстоятельствах. Госпожа Шерон, единственная ее родственница, могла бы быть ее другом, но она была или поглощена своими светскими обязанностями, или просто сердилась на племянницу за ее нежелание уезжать из отцовского замка; словом, пока тетка бросила Эмилию на произвол судьбы.

– Ах, я вижу, – промолвил Валанкур после долгой паузы, в продолжение которой Эмилия начинала то ту, то другую фразу, оставляя их неоконченными, – вижу, что для меня нет никакой надежды: я не ошибался – вы считаете меня недостойным вашего уважения. Ах! это роковое путешествие! Я считал его счастливейшей порой моей жизни, а вместо того эти блаженные дни отравят всю мою будущность! Как часто я вспоминал об этих днях с надеждой и страхом! и все-таки до этой минуты я никогда не жалел об их чарующем впечатлении на мою душу!

Голос его прервался, он стремительно вскочил с места и заходил по террасе. На его лице было выражение отчаяния, поразившее Эмилию. Сердечная симпатия к нему в некоторой степени поборола ее чрезвычайную робость; и когда он опять сел, она проговорила тоном, выдававшим ее нежное чувство:

– Вы несправедливы к себе и ко мне, говоря, будто я считаю вас недостойным моего уважения; сознаюсь вам, что я уже давно чувствую к вам уважение и... и...

Валанкур нетерпеливо ждал окончания фразы, но слова замерли на ее губах. В глазах ее отражалось, однако, волнение ее сердца. В один миг Валанкур перешел от нетерпения и отчаяния к нежности и восторгу.

– О, Эмилия! – воскликнул он, – моя Эмилия! Научите меня, как вынести эту минуту! Она запечатлеется в моем сердце, как самая священная в моей жизни!

Он прижал руку ее к губам своим; рука была холодна и дрожала; подняв глаза, он увидел, как бледно ее лицо. Слезы доставили Эмилии облегчение; Валанкур наблюдал ее в тревожном волнении. Через несколько минут она оправилась и, улыбаясь сквозь слезы, сказала:

– Простите мне эту слабость. Силы мои, вероятно, еще не оправились после недавнего потрясения.

– Я не могу простить себе, – сказал Валанкур, – что я был причиной вашего волнения; постараюсь более не касаться предмета, который мог расстроить вас в сладостной уверенности, что пользуюсь вашим уважением.

Потом, забыв о своей решимости, он опять заговорил о том же.

– Вы не знаете, сколько мучительных часов я провел вблизи от вас за эти последние дни, когда вы думали, что я далеко, – если только вы иногда делали мне честь вспоминать обо мне. Я бродил вокруг замка в тихие часы ночи, когда ни одна душа не могла видеть меня. Было так отраднo сознaвать вашу близость, для меня было что-то особенно успокоительное в мысли, что я караулю ваш дом в то время, как вы поживаете. Эти сады отчасти знакомы мне. Однажды я перелез через ограду и провел один из счастливейших, хотя и мучительных часов в моей жизни, прохаживаясь под окном, которое я считал вашим.

Эмилия осведомилась, как долго Валанкур жил по соседству.

– Несколько дней, – отвечал он. – У меня было намерение воспользоваться позволением вашего батюшки посетить вас. Не знаю почему, но при всем моем желании видеть вас я все не решался войти и постоянно откладывал свое посещение. Я поселился в деревне поблизости и бродил со своими собаками по живописным местностям этого прелестного края; все время я мечтал встретить вас, однако не решался посетить ваш дом...

Разговор продолжался, и время летело незаметно; наконец Валанкур опомнился.

– Мне пора уходить, – молвил он печально, – но я уйду с надеждой увидеть вас снова, получив от вас разрешение посетить ваших родных.

– Мои родные будут рады видеть того, кто был другом моего покойного отца, – отвечала Эмилия.

Валанкур поцеловал ее руку и все мешкал, не имея сил уйти; Эмилия сидела молча, потупив глаза в землю, а Валанкур, глядя на нее, думал, что скоро он уже не увидит это прекрасное лицо и что даже по памяти ему будет трудно вызвать перед собой эти дорогие черты. В эту минуту из-за платана послышался шум торопливых шагов и, повернувшись, Эмилия увидела перед собой госпожу Шерон. Девушка почувствовала, что ее бросило в краску: она задрожала от волнения, однако поспешно вскочила навстречу гостю.

– Ну-с, милая племянница! – начала госпожа Шерон, окидывая Валанкура удивленным, пытливым взглядом, – вот и я! Как поживаете? – Впрочем, нечего и спрашивать! ваш цветущий вид и так доказывает, что вы уже утешились после вашей утраты.

– В таком случае, мой вид обманчив, тетя, – в своей утрате я никогда не могу утешиться.

– Ладно, ладно, не стану с вами спорить: я вижу, у вас батюшкин характер, но позвольте сказать вам, что ему, бедняжке, лучше бы жилось с другим характером.

Гордый, негодующий взгляд, брошенный Эмилией на госпожу Шерон, смутил бы всякого другого, но не ее. Эмилия не отвечала ни слова, но представила тетке Валанкура, который тоже едва мог скрыть свое возмущение; на поклон его госпожа Шерон отвечала легким кивком и надменным взглядом. Через несколько минут молодой человек простился с Эмилией, причем та заметила, как ему тяжело уйти и оставить ее в обществе такой особы, как госпожа Шерон.

– Кто этот молодой человек? – спросила тетка тоном, в котором сквозило и любопытство, и презрение, – вероятно, какой-нибудь досужий ухаживатель? Но я все-таки думала, милая моя, что у вас хватит чувства приличия, и вы поймете, что вам нельзя принимать визиты молодых людей в вашем теперешнем одиноком положении. Я должна вам сказать, что свет замечает подобные вещи и будет болтать – конечно, не в недоброжелательном духе.

Эмилия, возмущенная этими грубыми речами, пыталась прервать их; но госпожа Шерон продолжала, не смущаясь, с самодовольством человека, для которого власть еще внове.

– Вам непременно надо находиться под наблюдением особы, способной руководить вами. Мне собственно некогда этим заниматься. Но так как ваш бедный отец перед смертью пожелал, чтобы я наблюдала за вашим поведением, то я принуждена взять вас под свою опеку. Но я должна сказать вам, что если вы не будете вполне подчиняться моим указаниям, то я не стану утруждать себя заботами о вас.

Эмилия уже не делала попыток прерывать словоизвержения госпожи Шерон; горе и гордость оскорбленной невинности заставляли ее молчать.

– Я приехала сюда затем, чтобы взять вас с собой в Тулузу, – заговорила опять тетка. – Мне очень жаль, что ваш отец умер в таких печальных обстоятельствах, но я приму вас к себе. Ах, бедняга! он всегда был великодушен, но непрактичен, иначе он не оставил бы своей дочери в зависимости от родных.

– Надеюсь, он этого и не сделал, тетя, – спокойно возразила Эмилия, – да и денежные неудачи его произошли вовсе не по милости благородного великодушия, всегда отличавшего его: дела господина Мотвилля, я полагаю, могут еще поправиться без большого убытка для его кредиторов, а тем временем я желала бы оставаться в «Долине».

– Еще бы не желали! – воскликнула госпожа Шерон с иронической улыбкой, – и я, конечно, соглашусь на это, видя, как необходимы спокойствие и уединение для успокоения ваших нервов. Я не считала вас способной на такую двуличность, милая моя. Когда вы ссылались на этот предлог для того, чтобы оставаться здесь, я имела глупость поверить вам, и никак не ожидала застать вас в приятном обществе этого Ла Вал... как бишь его?.. Я забыла имя.

– Я говорила вам сущую правду, тетя, – отвечала она, – и теперь я более чем когда-либо ценю уединение, о котором тогда просила; и если цель вашего посещения состоит лишь в том, чтобы оскорблять меня, хотя и без того я сильно страдаю, то вы могли бы немного пощадить дочь вашего покойного брата.

– Я вижу, что взяла на себя хлопотливую обузу, – заметила госпожа Шерон, вся побагровев.

– Мой отец, наверное, не думал, тетя, – проговорила Эмилия мягко и стараясь удержаться от слез, – что это будет для вас такой обузой. Уверяю вас, мое поведение всегда заслуживало его одобрения. Мне было бы прискорбно оказывать неповиновение сестре моего дорогого отца; и если вы полагаете, что ваша задача действительно будет так тяжела, то я могу только пожалеть, что она выпала вам на долю.

– Полно, племянница, все это фразы. Из уважения к моему бедному брату я готова пока смотреть сквозь пальцы на неприличие вашего поведения. Увидим, как вы впредь будете держать себя.

Эмилия просила ее объяснить, в чем заключается неприличие, на которое намекает тетка.

– В чем неприличие! Да в том, что вы принимали посещения поклонника, неизвестного вашим родным! – воскликнула госпожа Шерон, не соображая, что сама виновата в гораздо большем неприличии, подозревая племянницу в неблагоприятном поступке.

Слабый румянец разлился по лицу Эмилии; гордость и огорчение боролись в ее сердце; но, вспомнив, что, действительно, с первого взгляда подозрения ее тетки как будто и оправдываются до известной степени, она не могла унизиться настолько, чтобы начать оправдывать свое поведение, в сущности невинное и неумышленное. Она рассказала, как она познакомилась с Валанкуром при жизни отца; рассказала, как он был нечаянно ранен дорогой ее отцом и как они потом путешествовали вместе; наконец, упомянула, что она случайно встретила с ним вчера вечером. Правда, он признался, что неравнодушен к ней, и просил позволения явиться к ее родным.

– Но кто же он такой, этот искатель приключений, скажите, пожалуйста? – воскликнула Госпожа Шерон. – И на что он рассчитывает?

– Ну, уж это пусть он сам объяснит вам, – отвечала Эмилия. – Его семья была известна моему отцу, и он слышал, что она пользуется безукоризненной репутацией.

Далее она рассказала все, что знала о нем.

– А! так он, значит, младший сын в семье, следовательно, нищий! – воскликнула тетка. – Вот это мило! И мой брат пристрастился к этому молодому человеку после нескольких дней знакомства? Это так на него похоже! В молодости он, бывало, всегда то полюбит, то возненавидит кого-нибудь без всякой разумной причины, и даже я всегда находила, что те люди, кото-

рых он не одобрял, гораздо приятнее его любимцев. Впрочем, о вкусах не спорят. Он всегда поддавался впечатлению внешности. Что до меня касается, то я нахожу, что это смешная восторженность! Ну, что общего между лицом человека и его характером? Не может разве случиться, что у хорошего человека неприятное лицо?

Эту последнюю фразу госпожа Шерон произнесла с большой самоуверенностью, точно сделала великое открытие, и решила, что все рассуждения покончены.

Эмилия, желая прекратить неприятный разговор, осведомилась, не желает ли тетушка закусить после дороги; госпожа Шерон пошла за ней в замок, однако не рассталась со своей темой, которую обсуждала с таким самодовольством и с такой строгостью к племяннице.

– Я с огорчением убеждаюсь, – сказала она в ответ на какое-то замечание Эмилии о физиономиях, – что вы унаследовали многие предрассудки от вашего отца, между прочим, внезапную симпатию к людям, за их приятную наружность. Я догадываюсь, что вы считаете себя страстно влюбленной в этого молодого авантюриста, после знакомства в несколько дней. Действительно, в вашем свидании было что-то романтически очаровательное!..

Эмилия подавила слезы, готовые брызнуть из ее глаз, и проговорила:

– Когда мое поведение будет заслуживать вашей строгости, тетя, тогда и будьте строги; но до той поры, из чувства справедливости, если не любви, вам следовало бы воздержаться. Я никогда добровольно не оскорбляла вас. Теперь я лишилась родителей, и вы единственное лицо, от кого я могу ждать доброго отношения. Не растравляйте же моего горя, оно и так велико после потери моих родителей!

Последние слова она едва могла выговорить от волнения и вслед за тем залилась слезами. Она вспомнила о деликатности и нежности Сент-Обера, о счастливых днях, проведенных ею в родном доме, и вот теперь, сравнивая все это с грубым, бессердечным обращением госпожи Шерон и представляя себе, сколько ей впредь придется проводить тоскливых часов в ее обществе, она чувствовала, что ею овладевает горе, близкое к отчаянию. Госпожа Шерон, более обиженная укорами Эмилии, чем тронутая ее скорбью, не сказала ничего, что могло бы смягчить ее горе; но хотя она и выражала неохоту принять к себе племянницу, однако, в сущности, желала ее общества. Властолюбие было ее преобладающей слабостью; она знала, что ей будет удобно принять к себе в дом молодую сироту, которая будет беспрекословно слушаться ее и исполнять все ее капризы.

Войдя в замок, госпожа Шерон изъявила желание, чтобы Эмилия сейчас же уложила свои вещи, так как она намеревается немедленно выехать в Тулузу. Эмилия старалась уговорить тетку отсрочить отъезд хотя бы до завтрашнего дня. Наконец это ей удалось.

Весь день госпожа Шерон капризничала и пускала в ход свою мелочную тиранию, а Эмилия печалилась, помышляя о будущем.

Вечером, когда тетка удалилась в свою спальню, Эмилия обошла все комнаты и просталась со всеми вещами в своем родном доме, который теперь покидала невеста на сколько времени, для того чтобы вступить в свет, ей совершенно чуждый и неизвестный. Она не могла победить в себе предчувствие, часто приходившее ей на ум в эту ночь, – что она никогда больше не вернется в отцовский замок.

Долго оставалась она в кабинете отца, отобрала несколько любимых его авторов, чтобы увезти их с собой, и пролила немало слез, стирая пыль с книг; потом она уселась в его любимое кресло перед пюпитром для чтения и погрузилась в печальные думы; так просидела она до тех пор, пока Тереза не отворила дверь, делая обход перед сном. Старуха вздрогнула, увидав свою молодую госпожу; но та позвала ее и отдала распоряжение держать дом наготове к ее приему в любое время.

– Ох, ох, ох! барышня моя горемычная! и зачем вам понадобилось уезжать отсюда! – промолвила Тереза, – право, вам здесь будет лучше, чем там, куда вы едете, – если судить по всему...

Эмилия не отвечала на это замечание. Огорчение, выраженное Терезой по поводу ее отъезда, глубоко трогало ее; но она находила некоторое утешение для себя в простой привязанности этой бедной, старой служанки; она дала ей кое-какие распоряжения с целью удобнее устроить ее во время отсутствия ее госпожи.

Отпустив Терезу спать, Эмилия еще бродила по всем пустым покоям замка; более всего она пробыла в спальне отца и там долго предавалась грустным мыслям, не лишенным некоторого утешения. Наконец она удалилась в свою комнату. Из окна она смотрела на сад, слабо озаренный луной, подымавшейся из-за вершин пальмовых деревьев; наконец тихая красота ночи пробудила в ней такое сильное желание проститься с возлюбленными воспоминаниями своей юности, что она не могла устоять против соблазна сойти вниз. Набросив на голову легкий прозрачный шарф, в котором она обыкновенно гуляла, она молча прошла через сад и направилась к отдаленным рощам, чтобы еще раз подышать воздухом свободы и поплакать вдали от посторонних глаз. Глубокий покой ночи, дивное благоухание, разлитое в воздухе, величие далеких горизонтов и ясный синий свод над головою умиротворили и возвысили ее душу, делая ее нечувствительной к ничтожному, низменному миру до такой степени, что теперь она не могла даже понять, как эти житейские мелочи могли хоть на минуту взволновать ее. Эмилия позабыла о госпоже Шерон и обо всех ее вздорных придирках, и помыслы ее вознеслись к созерцанию бесчисленных миров, рассеянных в глубине эфира – причем тысячи их невидимы человеческому глазу и даже недоступны человеческому воображению. В то время, как мысли ее витали в бесконечном пространстве и возносились к предвечному Началу Бытия, управляющему вселенной, мысль об отце ни на минуту не покидала ее; но то была мысль отрадная, так как она со своей глубокой, чистой верой знала, что душа его в руках Божиих. Эмилия продолжала идти по роще к террасе, но часто останавливалась на пути, когда какое-нибудь воспоминание шевелило ее горе или когда ее рассудок напоминал ей о предстоящем изгнании.

Луна уже стояла высоко над лесом, задевая верхушки деревьев желтым светом и пронизывая чащу длинными косыми лучами; внизу, над быстрой Гаронной трепетное лунное сияние затуманивалось легкой мглой. Эмилия долго наблюдала светлое отражение, прислушивалась к мягкому ропоту струй и к слабому шелесту бриза в верхушках пальм.

«Как прекрасен воздух в роще! – думала она. – Какая прелестная картина! Часто буду я вспоминать и сожалеть о них, когда буду далеко! Увы! много воды утечет прежде, чем я вернусь сюда. О, мирные, отрадные тени! призраки моего счастливого детства и родительской нежности, навеки утраченной! Зачем мне суждено покинуть вас? В этих местах, полных вами, я могла бы найти тишину и отдохновение. Сладостные дни моего детства! Я должна проститься с последними воспоминаниями о вас!»

Осушив слезы и взглянув на небо, она снова погрузилась в прежнее созерцание; и опять такое же небесное спокойствие овладело ее сердцем, внушило ей надежду, веру и покорность воле Господа, чьи творения наполняли ее душу восторгом.

Эмилия долго смотрела на любимый платан, потом в последний раз села на скамью под его тенью, где, бывало, часто сживала с отцом и матерью и где лишь за несколько часов перед тем беседовала с Валанкуротом. При воспоминании о нем, в ее сердце поднялось чувство нежности и тоски по нему.

Вспомнилось ей его признание, что он часто бродил вокруг ее жилища по ночам и даже заходил иногда за ограду сада; ей тотчас же пришло в голову, что и в данную минуту он где-нибудь в парке. Боясь встретиться с ним, в особенности после его признания, и заслужить справедливый выговор от тетки, она заставила себя отойти от платана и пойти к замку. Она тревожно озиралась кругом и останавливалась по временам, стараясь пронизать взором потемки; но никто не попадался ей навстречу; наконец, она дошла до группы миндальных деревьев, неподалеку от дома, и там остановилась, чтобы окинуть весь сад прощальным взглядом; вдруг ей показалось, что какая-то фигура вышла из рощи и медленно прошла по залитой лунным

светом аллее, но за далеким расстоянием и тусклым освещением она не могла определить, была ли это действительность или обман воображения... Некоторое время она не отрываясь смотрела на то место, и вдруг в мертвой тишине воздуха ей почудился какой-то звук и шум шагов неподалеку. Не тратя времени на догадки, она торопливыми шагами направилась к дому; придя к себе в спальню, она закрыла окно, выходившее в сад, и тут опять ей показалось, что чья-то фигура проскользнула мимо миндальных деревьев. Эмилия немедленно отошла от окна и, как ни была взволнована, постаралась найти во сне отдых и хотя бы кратковременное забвение.

Глава 11

*Навеки я цветущую тропинку покидаю.
Тропу веселую, где я, бывало, мальчиком
Беспечно напевал, резвился,
Где каждое лицо мне с лаской улыбалось,
Где каждая долина, роца были так прекрасны,
И все кругом невинно, безыскусственно и мило!*

Менестрель

Рано утром к воротам замка подкатила карета, которая должна была везти госпожу Шерон с Эмилией в Тулузу; тетушка была уже в столовой, когда появилась Эмилия. Завтрак прошел скучно и в унылом молчании, по крайней мере, со стороны Эмили. Госпожа Шерон, самолюбие которой было задето печальным видом племянницы, резко укоряла ее, что, конечно, не могло улучшить ее настроения. С большой неохотой и после убедительных просьб Эмили ей было разрешено взять с собой собаку, любимицу ее покойного отца. Тетка, торопившаяся уехать, приказала поскорее подавать карету, и в то время, как она шла к воротам, Эмилия еще раз заглянула в библиотеку, окинула последним, прощальным взглядом сад и только тогда последовала за теткой. Старая Тереза вышла за ворота провожать свою молодую госпожу.

– Да хранит вас Бог, барышня! – промолвила старуха.

Эмилия молча протянула ей руку и отвечала на ее слова принужденной улыбкой.

У ворот парка стояли несколько бывших пенсионеров ее отца, пришедших проститься с нею; ей хотелось бы сказать им несколько добрых слов на прощанье, но тетка не позволила кучеру даже остановиться.

Бросив беднякам почти все деньги, какие нашлись у нее, Эмилия забилась в уголок экипажа и отдалась своей печали. Немного погодя, взглянув в окно, она еще раз увидела на повороте дороги свой родной замок, выглядывавший из-за высоких деревьев, окруженный зелеными холмами и пышными рощами; увидела и Гаронну, извивающуюся меж густой зеленью виноградников и далеких пастбищ. Вершины и пропасти Пиренеев, видневшиеся на юге, напомнили Эмили множество интересных эпизодов из их последнего путешествия; но эта чудная местность, возбуждавшая прежде ее восторг, в эту минуту вызвала в ней одну горечь и сожаление. Занятая своими печальными думами, она была не в силах поддерживать разговор, затеянный госпожой Шерон по поводу каких-то пустяков; так они ехали в молчании.

Тем временем Валанкур вернулся домой, в поместье Этьювер, полный мыслями об Эмили; иногда он предавался мечтам о будущем счастье, но чаще всего его мучили опасения встретить сопротивление со стороны ее родных. Он был младший сын старинной фамилии из Гаскони; родителей он потерял в раннем детстве, так что воспитание его и охрана небольшой доли принадлежавшего ему состояния были поручены его брату, графу Дюварней, который был старше него на двадцать лет.

Валанкур получил самое тщательное образование, какое только возможно было дать юноше в те времена; он отличался пылкостью нрава, великодушием, ловкостью и другими качествами, свойственными рыцарскому званию. Его маленькое состояние значительно сократилось, благодаря расходам на его воспитание; но старший Валанкур, очевидно, думал, что дарования и таланты младшего брата в избытке вознаградят его за недостаток средств. Качества молодого человека дали возможность надеяться на успехи в военной карьере – а те времена почти единственной профессии, в которую дворянин мог вступить, не запятнав свое имя; разумеется, Валанкур был зачислен в армию. Но высокие качества его ума были мало поняты

его братом. Уже с самого детства у него замечалось горячее стремление ко всему великому и прекрасному, как в духовной, так и в материальной жизни; резкое негодование, какое он чувствовал и открыто выражал по поводу всякого дурного, низкого поступка, иногда навлекало на него выговоры его наставника: тот бранил мальчика за несдержанность характера; но, проповедуя ему о преимуществах кротости и сдержанности, педагог как будто забывал, что именно эти качества кротости и сострадания его воспитанник всегда проявлял по отношению ко всем обездоленным.

Валанкур получил отпуск из своего полка и воспользовался им для путешествия в Пиренеях, где судьба свела его с Сент-Оберем. Теперь срок отпуска уже почти истек, и для Валанкура было тем более важно открыться родным Эмилии, от которых он имел основание ждать сопротивления, так как его состояние, с прибавкой ее скромных средств, хотя и оказалось бы достаточным для скромной жизни, но не могло удовлетворить ни их тщеславия, ни честолюбия. Сам Валанкур не был лишен честолюбия; он мечтал о блестящей карьере в армии, но думал, что с Эмилией пока он мог бы жить припеваючи, в пределах своего скромного дохода. Теперь все его помыслы были поглощены заботой – как явиться к ее родным; местопребывания их он не знал и надеялся получить о них сведения от самой Эмилии, не подозревая о ее внезапном отъезде из «Долины».

Между тем путешественницы продолжали свой путь. Эмилия несколько раз старалась притвориться веселой, но тотчас же опять впадала в уныние и молчание. Госпожа Шерон приписывала ее меланхолию исключительно разлуке с возлюбленным; уверенная, что скорбь племянницы по поводу потери отца не что иное, как аффектация, излишняя сентиментальность, она все время старалась убедить Эмилию, что смешно выказывать глубокое горе так долго после положенного срока.

Наконец эти неприятные нравоучения тетюшки были прерваны приездом путешественниц в Тулузу. Эмилия не была там уже много лет и сохранила об этом городе лишь самые смутные воспоминания. Она была поражена богатством и пышностью обстановки в теткинском доме, тем более что вся эта показная роскошь составляла полный контраст со скромным изяществом, к которому она привыкла у отца с матерью. Она прошла за госпожой Шерон через обширные сени, где выстроилось множество слуг в парадных ливреях, в салон, обставленный с большей эффектностью, чем вкусом. Тетка, жалуясь на усталость, приказала подать ужин немедленно.

– Я рада, что я опять у себя дома, – говорила она, развалившись на диване, – рада, что меня окружают мои собственные слуги. Я терпеть не могу путешествовать; хотя, в сущности, мне следовало бы любить вояжи: все, что я вижу в чужих домах, заставляет меня желать поскорее вернуться домой. Но отчего вы все молчите, дитя мое? Скажите, что теперь-то вас огорчает?

Эмилия смахнула набежавшую слезу и старалась улыбнуться: она думала о своем милом доме, и ее кольнуло чувство высокомерия, сквозившее в речах госпожи Шерон.

«Неужели же это сестра моего отца?», – размышляла она; но тотчас же почувствовала потребность смягчить то грубое впечатление, которое произвела на нее заносчивость тетки, и показать готовность угодить ей. Эти старания не пропали даром; она слушала с притворной веселостью пространные, хвастливые рассказы госпожи Шерон о пышности ее дома, о том, какие балы она задавала, и о том, как должна держать себя Эмилия. Сдержанность и скромность молодой девушки она приписывала гордости и невоспитанности и воспользовалась случаем, чтобы раскритиковать ее в пух и прах. Ее пониманию был недоступен характер племянницы; она не знала, что иные натуры боятся довериться собственным силам и, имея свое собственное, тонкое суждение обо всем, склонны думать, что все другие люди судят вернее и лучше, поэтому боятся подвергнуться критике и ищут убежища в молчании. Эмилии часто случалось краснеть в обществе при виде беззастенчивой наглости и блестящего вздора, воз-

буждавших всеобщее восхищение; между тем этот успех, вместо того чтобы побуждать ее к подражанию, напротив, склонял ее к сдержанности.

Госпожа Шерон довольно презрительно относилась к скромности и застенчивости своей племянницы и старалась переделать ее при помощи своих наставлений.

Ужин прервал разглагольствования госпожи Шерон и тягостное впечатление, которое они производили на Эмилию. По окончании ужина, чрезвычайно парадного, благодаря присутствию множества слуг и роскошной сервировке, госпожа Шерон удалилась к себе; вслед затем появилась горничная проводить Эмилию в предназначенную ей комнату. Поднявшись по широкой лестнице и пройдя через несколько галерей, они пришли к черной лесенке, ведущей в короткий коридор, находящийся в отдаленной части дома; там служанка отворила дверь маленькой комнатки, говоря, что это комната мадемуазель Эмилии. Оставшись одна, Эмилия дала волю долго сдерживаемым слезам.

Тот, кто знает по опыту, до какой степени человек способен привязаться к предметам даже неодушевленным, как тяжело ему расставаться с ними и как радостно он встречается с ними, как со старыми друзьями, после временной разлуки, тот поймет, как грустно и одиноко чувствовала себя Эмилия, оторванная от дома, единственного жилища, которое она знала с детства, и брошенная в чуждую обстановку, среди людей новых и неприятных; любимая собака ее отца, бывшая при ней, приобретала таким образом, значение истинного друга; животное ласкалось к ней и лизало ее руку.

– Бедный Маншон, – говорила девушка, – кроме тебя у меня никого нет на свете! – и слезы ее полились с новой силой.

Через некоторое время мысли ее обратились к наставлениям покойного отца; она вспомнила, как часто он, бывало, осуждал ее за то, что она предавалась тщетной печали, как часто он доказывал ей необходимость терпения и твердости: душевные силы, говорил он, укрепляются старанием подавить горе: мало-помалу горе истощается и исчезает. Эти воспоминания осушили ее слезы, постепенно успокоили ее дух и воодушевили ее отрядным стремлением применять на деле принципы, внушенные ей отцом.

Глава 12

*Какая-то таинственная сила дает копье и щит,
Перед которым рушатся козни чародеев
И гибнут великаны.*

Коллинз

Дом госпожи Шерон стоял неподалеку от города Тулузы среди больших садов; там Эмилия, поднявшаяся рано утром, долго бродила перед завтраком. С террасы, устроенной в возвышенной части сада, открывался широкий вид на Лангедок. На далеком горизонте к югу Эмилия различала высокие вершины Пиренеев; воображение рисовало ей зеленые волнистые пастбища Гаскони, раскинувшиеся по ту сторону у подножия этих же гор. Сердце ее так и рвалось к мирному родному дому, к окрестным садам и пастбищам, к местам, где живет Валанкур и где жил ее отец; воображение ее, проникая сквозь дымку расстояния, представляло ей родину во всей ее живописной и романтической красе. Она испытывала невыразимое наслаждение, мысленно любясь дорогими сердцу картинами, хотя в действительности видела только отдаленную цепь Пиренеев; не замечая ни окружающей местности, ни хода времени, она стояла, облокотясь о перила павильона в конце террасы и устремив глаза в сторону Гаскони, пока не явился слуга доложить, что подан завтрак. Тогда только мысли ее обратились к окружающему; прямые аллеи, правильные клумбы, искусственные фонтаны этого сада не могли не показаться ей скучными и банальными по сравнению с естественными красотами и художественным расположением парка при отцовском замке.

– Куда это вы ходили так рано? – осведомилась тетка у племянницы, когда она вошла в столовую. – Мне не нравятся эти уединенные прогулки.

Эмилия отвечала, что не выходила из пределов сада, и очень удивилась, когда узнала, что и туда ей тоже запрещается ходить.

– Я прошу вас не гулять одной и в такой ранний час, – продолжала тетка, – мои сады очень обширны, и сознайтесь сами, что молодая девушка, способная назначать свидания при луне, не может внушать доверия.

Эмилия, чрезвычайно удивленная и возмущенная, едва нашла в себе силу спросить, что значат эти намеки. Тетка наотрез отказалась дать какое-либо объяснение, хотя своими строгими фразами и полужазами она, очевидно, хотела внушить Эмилии убеждение, что она знает какие-то подозрительные проделки ее. В сознании своей невинности, Эмилия не могла удержаться, чтобы не вспыхнуть от стыда; она задрожала и смутилась под смелым взором госпожи Шерон, которая тоже покраснела, но от торжества и удовлетворенного самомнения.

Эмилия, поняв, что все недоразумение вызвано ее прогулкой по саду в ночь накануне отъезда из «Долины», объяснила тетке значение этой прощальной прогулки. Госпожа Шерон презрительно усмехнулась, отказываясь принять это оправдание и даже не захотела объяснить причину своего отказа.

– Я никогда не верю людским уверениям, – добавила она в заключение, – а всегда сужу о людях по их поступкам. Ну, что ж! посмотрим, каково будет ваше поведение в ближайшее время.

Эмилия, не столько удивляясь сдержанности тетки и ее таинственному молчанию, сколько обвинению, которое та возвела на нее, тщательно обдумала значение таинственных намеков, и пришла к заключению, что это действительно Валанкур бродил по саду ночью накануне ее отъезда и что госпожа Шерон преследовала его. Последняя, перейдя от одной неприятной темы к другой, почти столь же тягостной, заговорила о денежных интересах племянницы, находящихся в руках Мотвиля. С напускным состраданием распространяясь о тяжелых

обстоятельствах Эмилии, она не преминула намекнуть, что племянница должна быть покорна и благодарна ей, и вообще дала Эмилии почувствовать всю горечь унижения: молодая девушка поняла, что она будет играть в доме роль какой-то приживалки не только в глазах самой тетки, но и теткинх слуг.

Ей сообщили, что сегодня ожидается много гостей к обеду; по этому случаю госпожа Шерон опять повторила вчерашние наставления насчет того, как следует вести себя в обществе. Эмилия желала бы найти в себе достаточно мужества, чтобы следовать этим советам. Тетка занялась вслед за тем осмотром ее простенького гардероба и пожелала, чтобы она оделась к обеду нарядно и к лицу. Кстати она соблаговолила показать Эмилии все великолепие своего дома, выставляя напоказ изящество и богатство тех или других покоев. После этого она ушла заниматься своим туалетом, а Эмилия отправилась к себе распаковывать свои книги и искать отрады в чтении, пока не настанет время одеваться к обеду.

Когда приехали гости, Эмилия вышла в салон с застенчивой робостью, которую она не в силах была превозмочь, тем более, что чувствовала на себе строгий взгляд тетки. Ее траурное платье, тихая грусть, разлитая на ее прекрасном лице, скромная застенчивость ее манер – делали ее очень интересной в глазах многих; в числе гостей она заметила синьора Монтони и друга его Кавиньи, которых уже встречала у Кенеля. Они разговаривали с госпожой Шерон с фамильярностью старых знакомых, а та со своей стороны относилась к ним с особенной приветливостью.

Этот синьор Монтони поражал видом сознательного превосходства и несокрушимым апломбом; все невольно ему подчинялись. Острый, пронизательный ум сквозил в его чертах, и при всем том выражение его лица постоянно менялось; смотря по случаю – несколько раз на дню можно было подметить на этих чертах торжество искусного притворства над искренними побуждениями. Лицо у него было продолговатое и довольно узкое; несмотря на это, он слыл красавцем; может быть, энергия и сила его духа, отражавшаяся в его чертах, составляли его главное обаяние. Он произвел сильное впечатление на Эмилию, но она сознавала, что не может уважать этого человека, и к этому чувству примешивалась некоторая доля страха, совершенно для нее необъяснимого.

Кавиньи был по-прежнему любезен и вкрадчив и, хотя он всячески старался оказывать внимание госпоже Шерон, однако находил случаи побеседовать и с Эмилией; перед ней он расточал блеск своего остроумия, и время от времени в его обращении с нею сквозила нотка нежности, смущавшая и пугавшая ее. Эмилия отвечала ему полусловами, но ее кротость и тихая прелесть поощряли его продолжать разговор. Она почувствовала облегчение, когда одна из девиц, болтавшая без умолку, успела обратить на себя его внимание. Эта барышня, обладавшая бойкостью и кокетством истой француженки, делала вид, что все знает, все понимает, или, вернее, это не было даже притворством, потому что, никогда не заглядывая за пределы собственного невежества, она была убеждена, что ей уже нечему учиться. Она обращала на себя всеобщее внимание – иных забавляла, иных приводила в раздражение, да и то только на одну минуту, вслед затем о ней тотчас же забывали.

Этот день прошел без особенных происшествий. Эмилия, хотя и заинтересованная наблюдениями над своими новыми знакомыми, обрадовалась, когда ей можно было удалиться в свою комнату и предаться далеким воспоминаниям, вошедшим у нее в привычку и обязанность.

Две недели быстро промчались в непрерывных развлечениях и выездах; Эмилия, сопровождавшая тетку во всех ее визитах, иногда развлекалась, но чаще всего утомлялась светской жизнью. Иногда ее поражали ум и знание некоторых людей в разговорах, которые ей приводилось слушать; но вскоре она убеждалась, что этот блеск, это знание в большинстве случаев одна мишура. Но что более всего обманывало ее – это вид неизменной веселости и оживления у светских людей. Сначала ей казалось, что эта веселость происходит от внутреннего довольства

и благодушия. Но, в конце концов, судя по поступкам некоторых из наименее умных членов общества, пересаливавших свою роль, оказывалось, что чрезмерное, лихорадочное оживление, обыкновенно царящее в небольшом свете, зависит отчасти от черствости и безучастности людей к страданиям ближних, отчасти же от желания их выставить напоказ свое благосостояние, в убеждении, что это должно возбудить к ним зависть и привлечь поклонение.

Самые приятные часы Эмилия проводила в павильоне на террасе: туда она удалялась всякий раз, как могла ускользнуть от наблюдения тетки; она брала с собой книгу, чтобы забыть хоть на время свою печаль, или лютню, если ей хотелось, напротив, предаться своим грустным думам; устремив глаза на далекие Пиренеи, а помыслы свои посвятив Валанкуру и чудной Гаскони, она играла нежные, грустные песни своей родной провинции – народные мелодии, знакомые ей с детства.

Однажды вечером, отказавшись сопровождать тетку в гости, она удалилась в павильон, захватив с собой книгу и лютню.

После душного дня наступил тихий, прекрасный вечер; в окна, выходящие на запад, виден был роскошный закат солнца. Лучи его ярко освещали величественные Пиренеи и окрашивали их снеговые вершины алым отблеском, не исчезающим долго после того, как солнце уже скрылось за горизонтом и сумеречные тени спустились над пейзажем.

Эмилия играла на лютне с трогательной задушевностью. Задумчивая грусть сумерек, вечерний свет, отражавшийся в водах Гаронны, которая протекала на далеком расстоянии и на пути своем орошала также и ее родимое имение, «Долину» – все это располагало ее сердце к нежности; мысли ее были поглощены Валанкуром. О нем она давно уже не имела никаких известий, и теперь только, когда была разлучена с ним и в неизвестности о нем, она убедилась, какое большое место он занимает в ее сердце. До встречи с Валанкуром она не видела человека, который характером и вкусами так сходил бы с нею. Хотя госпожа Шерон много натолковала ей о хитром притворстве людей, о том, что изящество и чистота мыслей – качество, так нравившееся ей в ее поклоннике, в сущности комедия, разыгрываемая для того, чтобы понравиться ей, – она все-таки не могла усомниться в его искренности. Но одной возможности притворства уже было достаточно, чтобы истерзать ее сердце; она находила, что нет ничего ужаснее, как сомневаться в достоинствах любимого человека; конечно, таких сомнений она не могла бы испытывать, если бы более доверяла своим собственным суждениям.

Эмилия была выведена из задумчивости стуком копыт по дороге, пролегавшей под самыми окнами павильона; какой-то всадник проехал мимо; его фигура и осанка поразительно напоминали ей Валанкура (сумерки не позволяли разглядеть его черты). Она поспешно отошла от окна, боясь, что ее увидят, однако горя желанием наблюдать. Незнакомец проехал не подымая головы, и когда она вернулась к окну, то смутно разглядела, что он едет по дороге, ведущей в Тулузу. Этот пустой случай так смутил ее дух, что красивый вид уже перестал интересовать ее; она походила еще немного по террасе и вернулась в замок.

Госпожа Шерон приехала из гостей страшно не в духе: или ее затмила какая-нибудь соперница, или она проигралась в карты, или же у соседей сервировка оказалась богаче, чем у нее самой, – как бы то ни было, но она вернулась расстроенная, и Эмилия была рада возможности удалиться в уединение своей комнаты.

На другое утро Эмилию позвала к себе тетка; лицо ее пылало гневом; она протянула Эмилии какое-то письмо.

– Знаком вам этот почерк? – спросила она строгим тоном и пытливым взором стараясь проникнуть ей в самое сердце.

Эмилия рассмотрела письмо и объявила, что почерк ей неизвестен.

– Не сердите меня! – проговорила тетка, – вы знаете почерк: признавайтесь сию минуту. Я вам приказываю открыть мне всю правду!

Эмилия молчала и, повернувшись, хотела выйти из комнаты; но госпожа Шерон позвала ее назад.

– Так вы виновны! – сказала она, – вы знаете этот почерк?

– Если вы раньше были в сомнении относительно этого, – отвечала Эмилия спокойно, – то зачем вы обвиняли меня во лжи?

Госпожа Шерон не сконфузилась и не покраснела; зато Эмилия вся вспыхнула, когда минуту спустя услышала имя Валанкура. Ее смущение не было, однако, вызвано сознанием, что она заслуживает упрека, потому что, если она когда-нибудь и видела его почерк, то предложенные строки не напоминали ей руку Валанкура.

– Полно отнекиваться – это бесполезно, – сказала госпожа Шерон, – я вижу по вашему лицу, что вы не чужды этого письма; конечно, вы получили немало таких посланий от этого дерзкого молодого человека тут же у меня в доме, но без моего ведома.

Эмилия, возмущенная неделикатностью этого обвинения, в один миг позабыла свою гордость, заставлявшую ее молчать, пыталась оправдываться; но госпожу Шерон невозможно было разуверить.

– Я не могу допустить, чтобы этот молодой человек осмелился писать ко мне, если вы сами не поощрили его к этому шагу, и теперь я должна...

– Позвольте мне напомнить вам, тетушка, – робко вступилась Эмилия, – некоторые подробности из разговора, происходившего между нами в «Долине»: я тогда сказала вам откровенно, что я не запрещаю господину Валанкуру обращаться к моим родным.

– Не смейте перебивать меня! – крикнула тетка, прерывая племянницу. – Я хотела сказать: я... я... я собственно забыла, что хотела сказать!.. Но как же вы не запретили ему?

Эмилия молчала.

– С какой стати вы разрешили ему беспокоить меня письмами? Молодой человек, никому неизвестный, полнейший незнакомец в этих краях, какой-то авантюрист, искатель приключений!.. Однако в данном случае он промахнулся.

– Его семья была знакома моему отцу, – скромно заметила Эмилия, пропуская мимо ушей последнюю фразу.

– Ах, это вовсе не рекомендация! У покойного были такие сумасбродные мнения о людях. Он всегда судил о них по их физиономиям и вечно ошибался.

– Ведь вы сами же еще недавно заключали о моей виновности по моему лицу.

Эмилия хотела отплатить тетке за неуважительный отзыв об ее отце.

– Так слушайте, для чего я позвала вас, – продолжала тетка, краснея, – я не желаю, чтобы меня беспокоили письмами или визитами молодые люди, которым вы приглянулись. Этот господин де Валантин, так, кажется, вы называли его, имеет дерзость просить, чтобы я позволила ему явиться ко мне в дом. Хорошо же! он получит от меня надлежащий ответ. Что до вас касается, Эмилия, то я повторяю вам раз и навсегда, что, если вам не угодно сообразоваться с моими указаниями и с моим образом жизни, то я откажусь от обязанности наблюдать за вашим поведением, перестану заниматься вашим воспитанием и отправлю вас на жительство в монастырь!

– Милая тетя, – проговорила Эмилия, заливаясь слезами и ошеломленная грубыми подозрениями тетки, – чем же я заслужила эти упреки?

Дальше она не могла произнести ни слова; она так боялась поступить опрометчиво в этой истории, что в эту минуту госпоже Шерон, может быть, даже удалось бы связать ее обещанием отказаться от Валанкура навсегда. Душа ее была измучена страхом и страданиями; она уже не могла смотреть на молодого человека так, как смотрела на него прежде; она боялась не госпожи Шерон, а своего собственного приговора; ей казалось, что в прежних своих беседах с ним в «Долине» она вела себя недостаточно сдержанно. Она знала, что не заслуживает грубых обвинений тетки; но множество щекотливых тонкостей мучили ее, таких тонкостей, которые

никогда бы не беспокоили совесть госпожи Шерон. Все это побуждало ее избегать малейшего случая впасть в ошибку и делало ее склонной подчиняться всем ограничениям, какие тетка сочтет нужным поставить ей; она заявила о готовности слушаться тетку; та не особенно поверила этим намерениям, считая их последствием трусости или притворства.

– Ну, так обещайте мне, – сказала тетка, – что вы не будете встречаться с этим господином и не будете писать ему без моего согласия.

– Милая тетя, неужели вы сомневаетесь в том, что я могу так поступить без вашего ведома?

– Не знаю, что и думать! Как поручиться за молодых девиц – уважение света им нипочем!

– О, тетушка, для меня главное заслужить свое собственное уважение; отец мой учил меня, до какой степени это важно. Он говорил, что если я заслужу собственное уважение, то уважение света придет само собой.

– Мой брат был славный человек, – согласилась мадам Шерон, – но он, бедняжка, совсем не знал света. Вот я так всегда чувствовала к себе надлежащее уважение, а между тем...

Она запнулась, но могла бы прибавить, что свет-то не всегда оказывал ей уважение, и поделом!

– Хорошо! так вы еще не дали мне требуемого обещания!

Эмилия охотно обещала; после этого ей позволили удалиться; она отправилась в сад, пыталась успокоить свои расстроенные чувства и, наконец, пришла в свой любимый павильон, в конце террасы. Там, сев в амбразуре одного из окон, обрамленных зеленью и выходящих на балкон, она, среди тишины и уединения, могла собраться с мыслями и составить себе более ясное представление о том, хорошо ли она поступала в прошлом? Она перебирала в памяти все подробности разговоров своих с Валанкуром; но, к величайшему удовольствию, не отметила ничего такого, что могло бы оскорбить ее щекотливую гордость, и таким образом утвердилась в самоуважении, столь необходимом для ее внутреннего мира. Душа ее успокоилась; опять Валанкур представился ей умным и достойным любви, а госпожа Шерон в совершенно противоположном свете. Воспоминание о возлюбленном принесло с собой немало тягостных волнений: она никак не могла примириться с мыслью о возможности лишиться его навсегда. А так как госпожа Шерон уже показала, как сильно она не одобряет этой привязанности, то Эмилия предвидела впереди много препятствий и страданий. И все же у нее было в глубине души какое-то радостное чувство надежды. Она решила про себя, что ни за что на свете не допустит тайной корреспонденции и что в разговоре с Валанкуром, если они опять встретятся, она будет соблюдать ту же строгую сдержанность, какую проявляла и раньше. «Если мы опять встретимся», – повторила она, и на глазах ее навернулись слезы. Но она быстро осушила их, услышав приближающиеся шаги. Дверь павильона распахнулась; и обернувшись, Эмилия увидела перед собой... Валанкура! Чувства радости, изумления и страха сразу нахлынули на нее с такой силой, что она едва не лишилась самообладания.

Она побледнела, потом яркая краска опять залила ее щеки; с минуту она была не в силах ни говорить, ни подняться с места. На его чертах, как в зеркале, отражались ее собственные чувства, и это заставило ее овладеть собою. Радость, сиявшая на его лице, вдруг померкла, когда он заметил ее волнение; дрожащим голосом он спросил ее о здоровье. Оправившись от неожиданности, Эмилия отвечала ему с натянутой улыбкой; но множество разнообразных чувств продолжали тесниться в ее сердце. Трудно было сказать, что преобладало: радость ли увидеть Валанкура или страх возбудить гнев тетки, когда она узнает об этой встрече. Сказав с ним несколько слов, она в смущении повела его в сад и спросила, виделся ли он с г-жой Шерон.

– Нет еще, – отвечал он, – я не видел ее, мне сказали, что она занята. Узнав, что вы в саду, я поспешил прийти сюда...

Он остановился смущенный, потом прибавил:

– Могу я осмелиться объяснить вам цель моего прихода, не подвергаясь вашему неудовольствию? Надеюсь, вы не станете укорять меня за то, что я поспешил воспользоваться вашим разрешением, посетить ваших родных?

Эмилия не знала, что отвечать; но ее смущение сменилось страхом, когда она увидела вдали госпожу Шерон, появившуюся из-за поворота аллеи. Когда к ней вернулось сознание ее невинности, этот страх немного рассеялся, и она отчасти успокоилась. Вместо того чтобы избежать тетки, она вместе с Валанкуром смело пошла ей навстречу. Надменный, раздраженный взгляд, брошенный на них госпожой Шерон, заставил Эмилию вздрогнуть; один этот взгляд объяснил ей, что тетушка считает их свидание не случайным, а заранее подстроенным. Назвав тетке фамилию Валанкура, она почувствовала, что слишком волнуется, не в силах оставаться с ними, и вернулась в замок. Там она долго ждала в трепетной тревоге результата беседы. Она не знала, как объяснить приезд Валанкура к ее тетке раньше, чем он получил просимое разрешение, так как ей не было известно одно пустое обстоятельство, изменявшее все. Дело в том, что Валанкур, в расстройстве своих чувств, позабыл пометить письмо своим адресом, так что госпоже Шерон невозможно было послать ему ответ! Вспомнив об этом обстоятельстве, он, может быть, не столько огорчился своим упущением, сколько обрадовался предлогу, позволявшему ему посетить Эмилию ранее, чем ее тетка могла прислать отказ.

Госпожа Шерон имела длинный разговор с Валанкуром; вернувшись в замок, она казалась не в духе, но на лице ее не было того сурового выражения, какого ожидала Эмилия.

– Наконец-то я отделалась от этого молодого человека, – сказала она, – и надеюсь, он меня никогда больше не будет беспокоить подобными посещениями. Он уверял меня, что это свидание не было заранее условлено между вами.

– Неужели, тетушка, вы спрашивали его об этом?

– Разумеется, спросила; еще бы!

– Боже мой! – воскликнула Эмилия, – что он может подумать обо мне, раз вы могли заподозрить меня в таком неприличии!

– Это весьма неважно, какое мнение он будет иметь о вас, – заметила тетка, – потому что я покончила со всей этой историей; но, думаю, он не получит худого мнения обо мне за мое осторожное поведение. Я показала ему, что со мною нельзя шутить, и что я, по своей деликатности, допустить не могу тайной корреспонденции в моем доме.

Много раз Эмилия слышала слово «деликатность» в устах госпожи Шерон; но теперь она более чем когда-либо сомневалась, чтобы тетушка могла проявить свою деликатность в таком деле, где она с начала до конца повела себя до такой степени бестактно.

– Брат поступил очень необдуманно, навязав мне наблюдение за вашей нравственностью, – проговорила Госпожа Шерон. – Я желала бы, чтобы вы повыгоднее пристроились в жизни. Но если меня еще будут беспокоить такие посетители, как этот вот Валанкур, то я, недолго думая, упрячу вас в монастырь: так и помните. Представьте, этот молодой человек имел дерзость признаться мне, что у него состояние очень незначительное и что он находится в зависимости от старшего брата и от выбранной им профессии! Следовало бы, по крайней мере, скрыть эти обстоятельства, если он надеялся получить мое согласие. Неужели он имел дерзость думать, что я выдам замуж свою племянницу за такого бедняка, каким он отрекомендовал себя?

Эмилия осушила слезы, услышав о чистосердечном признании Валанкура; разоблаченные им обстоятельства, правда, не благоприятствовали ее надеждам – но искренность его поведения доставила ей радость, заслонившую все прочие чувства. Она уже успела убедиться на опыте, несмотря на свою молодость, что здравого смысла и благородной прямоты не всегда достаточно в борьбе с глупостью и узкой хитростью; ее сердце было настолько не испорчено, что в эту трудную минуту она больше гордилась добрыми качествами своего возлюбленного, чем огорчалась торжеством тетки.

Госпожа Шерон продолжала наслаждаться своей победой.

– Он заявил мне, между прочим, что не примет своей отставки ни от кого, кроме как от вас самой. Но я наотрез отказала ему в свидании с вами: пусть знает, что моего неодобрения совершенно достаточно. Кстати, опять-таки повторю вам, что, если вы выдумаете какое-нибудь мне неизвестное средство устраивать свидания с ним, то я попрошу вас оставить мой дом немедленно.

– Как же мало вы меня знаете, тетя, если считаете нужным делать мне подобное внушение? – воскликнула Эмилия, проглатывая обиду, – и как мало вы знали моих дорогих родителей, воспитавших меня!

Вслед за этим мадам Шерон отправилась одеваться на предстоящий званый вечер; Эмилия охотно отказалась бы сопровождать свою тетку, но она боялась, что ее просьба остаться дома опять возбудит нелепые подозрения. Когда она пришла к себе в комнату, та небольшая доля твердости, которая еще поддерживала ее до сих пор, вдруг покинула ее. Она помнила только, что разлучена с Валанкуром, в характере которого с каждым разом открывались все новые прекрасные черты, – и разлучена, быть может, навеки! И она проплакала все то время, которое ей следовало бы посвятить туалету. Одевшись она наскоро и, когда появилась к обеду, то глаза ее были красны от слез, за что она получила строгий нагоняй от тетки.

Усилия ее казаться веселой не были тщетны, когда она вместе с теткой приехала на вечер к госпоже Клерваль, пожилой вдове, недавно поселившейся в окрестностях Тулузы в имении своего покойного мужа. Перед тем она много лет прожила в Париже, где вела роскошную жизнь; от природы наделенная веселым характером, она со времени переселения в Тулузу уже дала несколько великолепных празднеств, каких не помнят в околотке.

Эта роскошь возбуждала не только зависть, но и мелочное честолюбие госпожи Шерон. Она не могла соперничать с соседкой по части пышных торжеств, зато, по крайней мере, старалась втереться в число ее близких друзей. С этой целью она оказывала госпоже Клерваль самое раболепное поклонение и с восторгом принимала все ее приглашения. Куда бы она ни пошла, она всюду рассказывала о своей соседке, желая произвести на своих знакомых впечатление, якобы они были между собою на самой короткой ноге.

Сегодня у госпожи Клерваль был бал и костюмированный ужин-бал; приглашенные танцевали группами в обширном великолепном саду. Высокие, старые деревья, под которыми собрались гости, были иллюминированы множеством цветных шкаликов, расположенных с большим вкусом и затейливостью. Пестрые наряды гостей (некоторые из них сидели на траве, беседуя между собой, наблюдая танцы, кушая сласти и изредка прикасаясь к струнам гитары), ловкость кавалеров, очаровательное кокетство дам; легкие грациозные танцы, музыканты с лютнями, гобоями и тамбуринами, расположившиеся под вязом, – все это вместе составляло характерную, живописную картину французского веселья. Эмилия с меланхолическим видом, но не без удовольствия наблюдала эту блестящую сцену; легко себе представить ее волнение, когда она, стоя с теткой и любясь одной из танцующих групп, вдруг неожиданно увидела Валанкура, – он танцевал с какой-то прелестной молодой дамой и разговаривал с любезностью и фамильярностью, какой она никогда в нем не замечала. Эмилия поспешила отвернуться и пробовала увести госпожу Шерон, которая разговаривала в это время с синьором Кавиньи; Валанкура она не видела, и ей не хотелось, чтобы ее отвлекали от приятной беседы. В эту минуту Эмилия вдруг почувствовала дурноту и головокружение; не имея сил стоять, она опустилась на дерновую скамью под деревьями, где сидело еще несколько гостей. Один из них, заметив ее чрезвычайную бледность, осведомился, не больна ли она, и просил позволения принести ей стакан воды; но она отклонила эту услугу. Боязнь, чтобы Валанкур не заметил ее смущения, побуждала ее преодолеть дурноту. Мадам Шерон продолжала любезничать с синьором Кавиньи; граф Бовилье – тот самый господин, что предлагал свои услуги Эмилии, в разговоре сделал кое-какие замечания насчет окружающего. Эмилия отвечала ему почти бессознательно

– мысли ее были всецело заняты Валанкуром; ей было неловко чувствовать себя так близко от него. Но вот какая-то фраза, сказанная графом о танцующих, заставила ее обернуться в сторону Валанкура – в это мгновение глаза их встретились. Краска опять отлила от ее щек; вторично она почувствовала себя дурно и отвернулась; но раньше успела заметить, как изменился в лице Валанкур, увидав ее. Она ушла бы сейчас же, если бы не сознавала, что такой поступок еще более подчеркнет ее волнение. Делать нечего, она старалась поддержать разговор с графом и постепенно привела в порядок свои расстроенные чувства. Но когда ее собеседник заговорил о даме Валанкура, боязнь Эмилии показать, что она интересуется этим предметом, выдала бы ее с головою, если б граф взглянул на нее в эту минуту. Но он наблюдал танцующих.

– Знаете, эта дама, что танцует с молодым шевалье, – сказал он, – считается одной из первых красавиц Тулузы; она чрезвычайно хороша собой, да и приданое за ней будет солидное. Надеюсь, что в выборе спутника жизни ей более посчастливится, чем в выборе кавалера в танцах; смотрите-ка, он сейчас опять спутал фигуру и вообще все время ошибается; удивляюсь, как при его лице и фигуре он еще не наострился в танцах!

Эмилия, сердце которой трепетало при каждом слове графа, старалась отвлечь разговор от Валанкура, спросив фамилию дамы, с которой он танцевал; но прежде, чем граф успел ответить, танец окончился; Эмилия, заметив, что Валанкур направляется к ней, встала и подошла к госпоже Шерон.

– Здесь шевалье де Валанкур, – шепнула она тетке, – пожалуйста, уйдем отсюда.

Тетка тотчас же собралась перейти на другое место, но Валанкур уже успел приблизиться; он отвесил низкий поклон дамам и бросил на Эмилию взгляд, полный сердечной грусти. Эмилия, несмотря на все свои старания, не сумела показать ему полного равнодушия. Присутствие госпожи Шерон не позволяло Валанкуру остаться возле нее, и он отошел с печальным лицом, как бы упрекая ее за то, что она еще более растревляет его грусть. Эмилия была выведена из задумчивости графом Бовилье, знакомым ее тетки.

– Я должен просить у вас прощения, мадемуазель Сент-Обер, за мою невежливость, – поверьте, совершенно неумышленную. Я не знал, что шевалье ваш знакомый, а то я не осмелился бы так бесцеремонно критиковать его танцы.

Эмилия покраснела и улыбнулась; Госпожа Шерон избавила ее от труда отвечать.

– Если вы говорите о господине, только что проходившем мимо, то я могу вас уверить, что он вовсе не наш знакомый – ни я, ни мадемуазель Сент-Обер его совсем не знаем.

– О! это шевалье Валанкур, – небрежно проронил Кавиньи и оглянулся ему вслед.

– Так вы знаете его? – спросила госпожа Шерон.

– Я не знаком с ним.

– В таком случае, – заявила тетюшка, – ведь не может быть известно, почему я называю его дерзким: представьте, он имеет смелость восхищаться моей племянницей!

– Если вы называете дерзким всякого, кто восхищается мадемуазель Сент-Обер, – возразил Кавиньи, – то я боюсь, что найдется очень много таких дерзких людей; я сам готов вступить в их ряды.

– О, синьор! – молвила госпожа Шерон с натянутой улыбкой, – я вижу, вы научились говорить комплименты, с тех пор, как приехали во Францию. Но ведь это жестоко делать комплименты девочкам, – они могут принять лесть за правду.

Кавиньи отвернулся на одно мгновение, чтобы скрыть улыбку, потом проговорил с изумленной ужимкой:

– Кому же тогда вы прикажете преподносить комплименты, сударыня? – ведь было бы нелепо делать их женщинам опытным и с тонким пониманием: такие женщины выше всяких похвал.

Проговорив эту фразу, он украдкой бросил Эмилии лукавый, смеющийся взгляд. Она прекрасно поняла смысл его и покраснела за тетку. Но та отвечала, как ни в чем не бывало:

– Ваша правда, синьор; никакая разумная женщина не потерпит комплиментов.

– Я слышал от синьора Монтони, – возразил Кавиньи, – что он знает только одну женщину на свете, которая заслуживает комплименты.

– Вот как! – воскликнула госпожа Шерон, с улыбкой невыразимого самодовольства, – кто же эта женщина?

– О, – отвечал Кавиньи, – ее трудно не узнать: кроме нее, наверное нет на свете другой женщины, которая, хотя и заслуживает комплименты, но настолько умна, что отвергает их: большинство дам поступают как раз наоборот.

Он опять взглянул на Эмилию; та еще больше покраснела за тетку и с досадой отвернулась от дерзкого итальянца.

– Прекрасно сказано, синьор! – воскликнула госпожа Шерон, – да вы настоящий француз: право, иностранцы редко бывают так галантны.

– Благодарю вас, сударыня, – молвил Кавиньи с низким поклоном. – Однако галантность моего комплимента пропала бы даром, если б не остроумие, с каким он был истолкован.

Госпожа Шерон не поняла значения этой слишком сатирической фразы, а потому не испытала той обиды, какую почувствовала за нее Эмилия.

– О, вот и синьор Монтони идет сюда, – проговорила тетка, – стойте, я расскажу ему про все любезности, которые вы наговорили мне сегодня.

Однако в эту минуту синьор Монтони повернул в другую аллею.

– Скажите, кем это ваш друг так занят весь вечер? – спросила госпожа Шерон, огорчившись не на шутку. – Я даже не виделась с ним сегодня.

– У него важное свидание с маркизом Ла Ривьер, – объяснил Кавиньи, – и это задержало его до сей минуты, иначе он уже давно бы имел честь представиться вам, сударыня, он даже поручил мне передать вам это. Но, право, не знаю, что со мною делается: разговор с вами так очарователен, что я потерял память и по рассеянности не передал вам извинений моего друга.

– Эти извинения имели бы больше цены, если бы ваш друг представил их сам, – заметила госпожа Шерон, более обиженная небрежностью Монтони, чем польщенная комплиментами Кавиньи.

Ее неудовольствие в эту минуту и последний разговор с Кавиньи возбудили некоторые подозрения у Эмилии, но хотя они подтверждались и другими подробностями, замеченными ею раньше, она все-таки считала свои догадки нелепыми. Ей показалось, что синьор Монтони имеет серьезные намерения относительно ее тетки и что та не только принимает эти ухаживания, но ревниво ставит в строку все признаки невнимания с его стороны. Чтобы госпожа Шерон в ее годы согласилась вторично выйти замуж, казалось ей смешным, хотя, принимая во внимание тщеславие тетки, это было и возможно; но что Монтони с его изящным вкусом, с его наружностью и притязательностью избрал именно госпожу Шерон, – это представлялось Эмилии просто непонятным. Мысли ее, однако, недолго останавливались на этом предмете; ее занимали интересы более ей близкие, ей представлялся то Валанкур, отвергнутый ее теткой, то Валанкур, танцующий на балу с веселой и красивой дамой, и эти мысли поочередно терзали ее сердце. Идя по саду, она робко озиралась, не то боясь, не то мечтая встретить его в толпе; и по разочарованию, испытанному ею, когда она не встретила его, она могла убедиться, что ее надежды были сильнее ее страха.

Монтони вскоре присоединился к компании; он что-то пробормотал о том, что его задержали и выразил сожаление, что не мог раньше подойти к госпоже Шерон; а она, выслушав эти извинения с видом капризной девочки, отвернулась к Кавиньи, лукаво поглядывавшему на Монтони, как будто желая сказать:

– Так и быть, я пожалуй и не воспользуюсь победой над вами. Но только смотрите в оба, синьор! ведь мне недолго и похитить ваше сокровище.

Ужин был сервирован в нескольких павильонах парка, но всего роскошнее в большой зале замка. Госпожа Шерон и ее знакомые ужинали с хозяйкой дома в зале. Эмилия с трудом сдерживала свое волнение, заметив, что Валанкур поместился за одним столом с нею.

Госпожа Шерон, увидав его к своему величайшему неудовольствию, обратилась к соседу с вопросом:

– Скажите, пожалуйста, кто этот молодой человек?

– Это шевалье Валанкур, – отвечали ей.

– Ну, да, его имя мне известно; но кто таков этот Валанкур, что он попал сюда, за этот почетный стол?

В эту минуту внимание ее соседа было отвлечено чем-то другим, и она так и не получила объяснения. Стол, за которым они сидели, был очень длинен, и Валанкур, сидевший со своей дамой почти на самом конце его, не сразу заметил Эмилию. Она избегала смотреть в его сторону; но, когда взор ее случайно останавливался на нем, она видела, что он оживленно разговаривает со своей прекрасной соседкой. Этот факт нимало не способствовал успокоению ее духа; точно так же ей было больно слышать всеобщие отзывы о богатстве и красоте его дамы.

Госпожа Шерон, слушая эти отзывы, усердно старалась очернить Валанкура, на которого сердилась с мелочной злобой узкой, пошлой натуры.

– Я нахожу эту даму очаровательной, – заявила она, – но не одобряю ее за выбор кавалера.

– Отчего же? шевалье Валанкур один из наших самых блестящих молодых людей, – возразила ее соседка по столу, к которой были обращены эти замечания. – Ходят слухи, что мадемуазель д'Эмери и ее приданое непременно достанутся ему.

– Быть не может! – воскликнула госпожа Шерон, краснея от досады, – быть не может, чтобы она была до такой степени лишена вкуса; он так мало похож на светского человека, что, если бы я не увидела его сама за столом госпожи Клерваль, я никогда не поверила бы, что он человек из порядочного общества. Впрочем, я имею особенные причины думать, что эти слухи неверны.

– А я знаю, что они верны, – проговорила соседка, раздосадованная таким резким противоречием ее похвалам Валанкуру.

– Вы, может быть, разуваетесь, – возразила госпожа Шерон, – когда я скажу вам, что не далее как сегодня утром я отвергла его предложение.

Конечно, она сказала это вовсе не с намерением придать своим словам буквальное значение, но просто по привычке всегда выставлять себя на первый план, даже в делах, касающихся ее племянницы, и еще потому, что она действительно сама взяла на себя отказать Валанкуру.

– Ваши доводы в самом деле убедительны и не оставляют сомнений, – отвечала дама с иронической улыбкой.

– Точно так же, как нельзя сомневаться в прекрасном вкусе шевалье Валанкура, – прибавил Кавиньи, стоявший за стулом госпожи Шерон и слышавший, как она присвоила себе то, что принадлежало ее племяннице.

– Ну, насчет вкуса, это еще вопрос, синьор, – заметила госпожа Шерон, которой не понравилась похвала Эмилии, сквозившая, как ей показалось, в словах итальянца.

– Увы! – воскликнул Кавиньи, устремив на госпожу Шерон взгляд, полный притворного восторга, – как тщетны ваши уверения, тогда как это лицо, эта фигура, эта грация – все опровергает их! – Несчастный Валанкур! Его тонкий вкус принес ему гибель.

Эмилия имела смущенный и удивленный вид; дама, соседка госпожи Шерон за столом, тоже казалась изумленной. Госпожа Шерон, хотя и не совсем ясно понимала, в чем дело, но готова была принять эти речи за комплименты самой себе.

– О, синьор, вы очень любезны. – Но, слушая, как вы расхваливаете вкус шевалье Валанкура, можно подумать, что его ухаживания относятся ко мне.

– Помилуйте, в этом нельзя и сомневаться! – проговорил Кавиньи с низким поклоном.

– Но разве это не обидно, синьор?

– Бесспорно так, – согласился Кавиньи.

– Я не могу вынести этой мысли! Что бы сделать, чтобы опровергнуть такое досадное недоразумение? – восклицала госпожа Шерон.

– К сожалению, я ничем не могу помочь вам, – заявил Кавиньи с глубокомысленным видом. – Единственная для вас возможность опровергнуть клевету заключается в том, чтобы настаивать на первом своем заявлении; потому что, когда люди услышат о недостатке вкуса у шевалье Валанкура, никто не подумает, чтобы вы могли быть предметом его ухаживаний. Но, с другой стороны, люди примут во внимание вашу крайнюю скромность – ведь это правда, что вы не сознаете своих собственных совершенств. Изящный вкус Валанкура все-таки будет признан, хотя вы и отрицаете его. Словом, в обществе будут естественно верить тому, что шевалье обладает достаточным вкусом, чтобы восхищаться красивой женщиной.

– Все это очень неприятно! – вздохнула госпожа Шерон.

– Позвольте полюбопытствовать, что такое неприятно? – вмешалась госпожа Клерваль, пораженная печальным выражением ее лица и унылым тоном, которым это было сказано.

– Ах, это очень щекотливая вещь, – отвечала госпожа Шерон, – и очень для меня неловкая.

– Искренне сожалею! – отвечала хозяйка дома. – Надеюсь, здесь сегодня не случилось с вами ничего дурного?

– Увы, да! случилось и не более, как полчаса тому назад. И не знаю, чем это кончится. Никогда еще мое самолюбие не было оскорблено до такой степени. Но уверяю вас, что этот слух лишен всякого основания.

– Боже мой! что же делать! Скажите мне, каким образом я могу помочь вам?

– Единственное, что вы можете сделать – это опровергать этот слух всюду, куда бы вы ни пошли.

– Прекрасно! но объясните же мне, что именно должна я опровергать?

– Это до такой степени обидно, что я даже не знаю, как сказать вам, – продолжала Госпожа Шерон. – Судите сами. Видите вы вон того молодого человека, что сидит там на конце стола? Он разговаривает с мадемуазель Эмери...

– Да, вижу...

– Вы замечаете, как мало он похож на человека высшего общества? Я только что говорила, что не сочла бы его за дворянина, если б не увидала его за вашим столом.

– Ну, так что же? В чем заключается причина вашего негодования?

– А! вы хотите знать причину! – отвечала госпожа Шерон. – Эта личность, никому неизвестная, этот дерзкий молодой человек, имевший нахальство ухаживать за моей племянницей, – распространяет слухи, будто он заявил себя моим поклонником! Подумайте, как оскорбителен для меня такой слух! Я знаю, вы войдете в мое положение. Женщина моего звания! До чего унизителен для меня даже слух о подобном союзе.

– Унизителен, в самом деле, бедный друг мой, – согласилась госпожа Клерваль, – можете быть уверены, я буду везде опровергать этот нелепый слух.

С этими словами она обратилась к другой группе гостей, а Кавиньи, с большой серьезностью наблюдавший всю эту сцену, поспешно отошел прочь, боясь, что не совладает с разбившим его смехом.

– Вы, кажется, не знаете, – промолвила дама, соседка госпожи Шерон, – что господин, о которой вы говорили, племянник мадам Клерваль?

– Быть не может! – всполошилась госпожа Шерон, начавшая убеждаться, что она совершенно ошиблась в своем суждении о Валанкуре; поэтому она, недолго думая, принялась расхваливать его с таким усердием, с каким раньше бранила.

Эмилия в продолжение почти всего разговора сидела в глубокой задумчивости и не слышала всей сцены; ее сильно удивило, когда она вдруг услышала из уст тетки похвалы Валанкуру, о родственных отношениях которого к госпоже Клерваль она не имела понятия. Она была рада, когда госпожа Шерон (сильно сконфуженная, хотя она и старалась не подавать виду) тотчас же после ужина собралась уезжать. Монтони явился усаживать госпожу Шерон в карету; за ними следовали Эмилия и Кавиньи с выражением лукавой важности на лице. Простившись с ними, Эмилия увидела в окно кареты Валанкура, стоявшего в толпе у ворот. Но прежде чем карета отъехала, он исчез. Едучи домой, госпожа Шерон ни разу не произнесла его имени в разговоре с Эмилией. Вернувшись в замок, они тотчас же разошлись по своим спальням.

На другое утро, в то время, как Эмилия сидела за завтраком с теткой, ей подали письмо, на конверте которого была надпись знакомым почерком. Эмилия взяла письмо дрожащей рукой, и тетка в ту же минуту спросила, от кого оно? Эмилия, с ее разрешения, сломала печать и, увидав подпись Валанкура, не читая, отдала письмо тетке, которая нетерпеливо схватила его. Пока она пробегала письмо, Эмилия по выражению ее лица старалась угадать его содержание. Наконец госпожа Шерон вернула его племяннице.

– Прочтите, дитя мое, – проговорила она тоном менее сердитым, чем можно было ожидать.

Разумеется, Эмилия поспешно повиновалась тетке. В письме своем Валанкур, почти не касаясь вчерашнего свидания, заявлял, что он примет отказ не иначе, как лично от самой Эмилии, и просил разрешения явиться сегодня вечером. Читая это, Эмилия удивлялась снисходительности госпожи Шерон; она взглянула на нее, как бы в ожидании, и печально промолвила:

– Что же мне отвечать, тетя?

– Ну, конечно, надо повидаться с молодым человеком и выслушать, что он имеет сказать в свою пользу!

Эмилия не верила ушам своим.

– Постойте, – прибавила тетка, – я сама отвечу ему.

Она потребовала чернил, перо и бумаги. Эмилия все еще не смела доверяться своим впечатлениям и сильно волновалась. Она перестала бы удивляться, если бы слышала вчера вечером про одно обстоятельство, не забытое госпожой Шерон, а именно, что Валанкур приходится племянником госпоже Клерваль.

Каково было в подробностях содержание теткой записки, Эмилия так и не узнала, но результатом ее было появление Валанкура в тот же вечер. Госпожа Шерон приняла его одна и между ними происходил долгий разговор, прежде чем Эмилию позвали вниз. Когда она вошла в гостиную, тетка спокойно беседовала с Валанкуром. При появлении молодой девушки Валанкур вскочил ей навстречу, и она заметила в глазах его искру надежды.

– Мы все толковали о вашем деле, – начала госпожа Шерон. – Шевалье рассказал мне, что покойный Клерваль был брат графини Дюварней, его матери. Очень жаль, что он раньше не сообщил мне о своем родстве с госпожой Клерваль. Разумеется, я сочла бы это обстоятельство достаточной рекомендацией для допущения его к себе в дом.

Валанкур поклонился и хотел обратиться к Эмили, но тетка остановила его.

– Поэтому я и согласна, чтобы он посещал вас; и хотя, я не хочу связывать себя никакими обещаниями или объявлять вам, что уже считаю вас своим родственником, однако я разрешаю вам не разрывать отношений с моей племянницей и признаю возможность союза вашего в будущем, в том, конечно, случае, если шевалье получит повышение по службе или произойдет другое какое-нибудь событие, которое даст ему возможность обзавестись женой. Но, прибавлю к сведению господина Валанкура, да и к вашему также, Эмилия, что до тех пор, я положительно запрещаю думать о свадьбе.

Эмилия несколько раз менялась в лице в продолжение этой пошлой речи, а под конец неприятное чувство ее усилилось до такой степени, что она хотела уйти из комнаты. Между

тем Валанкур, не менее ее смущенный, не смел взглянуть на нее, чувствуя, что она страдает из-за него. Но когда госпожа Шерон умолкла, он сказал:

– Как ни лестно мне ваше согласие, сударыня, как ни польщен я им, но у меня еще остаются такие опасения, что я почти не смею надеяться.

– Прошу вас, объяснитесь, – сказала госпожа Шерон. Это неожиданное требование снова смутило Валанкура, хотя при других обстоятельствах он только улыбнулся бы.

– Пока я не получу от мадемуазель Сент-Обер разрешение принять ваше согласие, – проговорил он прерывающимся голосом, – пока она сама не позволит мне надеяться...

– Ах, только-то! – прервала его тетюшка. – Ну, так я беру на себя ответить за нее. Но в то же время, сударь, позвольте мне заметить, что я ее опекунша, и во всяком случае, надеюсь, что моя воля для нее закон.

Проговорив все это, она встала и выплыла из комнаты, оставив Эмилию и Валанкура в состоянии полного смущения. Надежды Валанкура наконец преодолели сомнения, и он обратился к Эмилии с жаром и искренностью, столь свойственными ему; но она долго не могла оправиться настолько, чтобы выслушать сознательно его признания и мольбы.

Поведение госпожи Шерон в этом деле объяснялось ее тщеславным эгоизмом. Валанкур в своем первом свидании с полной чистосердечностью изложил ей свои теперешние обстоятельства и свои надежды в будущем, а она с большей осторожностью, чем гуманностью, бесповоротно и резко отказала ему. Она мечтала о том, чтобы ее племянница сделала блестящую партию, не потому, чтобы она действительно желала ей счастья, которое, по мнению света, могут доставить богатство и знатность, а просто потому, что она желала сама участвовать в тех благах, какие должен ей доставить такой союз. И вот, узнав, что Валанкур – племянник такой богатой и именитой особы, как госпожа Клерваль, она вдруг пожелала этого брака, так как перспектива богатства и знатности для Эмилии обещала отразиться и на ней. Ее расчеты относительно состояния были основаны скорее на ее мечтах, а не на каком-либо намеке Валанкура, или признаках вероятия. Строя свои надежды на богатстве госпожи Клерваль, тетка, очевидно, забывала, что у той есть дочь. Валанкур, однако, не позабыл об этом обстоятельстве: он так мало ожидал себе благ со стороны госпожи Клерваль, что даже не упомянул о своем родстве с нею при первом своем разговоре с госпожой Шерон. Каково бы ни было в будущем состояние Эмилии, породниться с госпожой Клерваль могло считаться в глазах тетки неоспоримой честью, так как пышность и роскошный образ жизни этой особы, во всяком случае, возбуждали и всеобщую зависть и старание подражать ей. Таким образом, она не задумалась одобрить помолвку племянницы, имея в виду лишь сомнительный и отдаленный исход и столь же мало соображаясь с ее счастьем, как и тогда, когда она поспешно и необдуманно запретила этот союз.

С этого времени Валанкур стал частым гостем в доме госпожи Шерон, и Эмилия проводила в его обществе первые счастливые часы со времени смерти отца. Оба были слишком поглощены настоящим, чтобы серьезно думать о будущем. Каждый из них любил, чувствовал себя любимым, и они не могли думать, чтобы эта привязанность, составлявшая отраду их в настоящем, могла причинить в будущем долготлетние страдания. Между тем госпожа Шерон стала поддерживать еще более частые сношения с госпожой Клерваль, и ее тщеславие было польщено возможностью благовестить всюду, куда бы она ни показывалась, о нежной привязанности, существующей между их племянником и племянницей.

За последнее время Монтони стал также ежедневным гостем в замке, и Эмилия не могла не заметить, что он действительно является в качестве претендента и получает поощрение со стороны ее тетки.

Так прошли зимние месяцы не только спокойно, но и счастливо для Эмилии и Валанкура; полк его стоял неподалеку от Тулузы, и он имел возможность часто посещать замок. Павильон на террасе был любимым местом их свиданий; там мадам Шерон и Эмилия работали

над каким-нибудь рукоделием, между тем как Валанкур читал им вслух изящные произведения литературы, слушал восторженные отзывы Эмилии, выражал свои собственные мнения и все более и более убеждался, что их души родственны друг с другом – и что оба полны тем же благородными, великодушными чувствами.

Глава 13

*Порою пастушок с Гебридских островов
Далеко забредет в унылую равнину
(Иль прихоть соблазнит его искать уединенья,
Иль заманит его воздушное виденье, какое иногда
Является, как существо живое, обманывая чувства)
И вдруг он видит на вершине обнаженного холма или внизу, в
долине,
В ту пору, когда Феб погружает колесницу свою в океан,
Большое сборище людей, которые ступают туда-сюда.
Потом в одно мгновенье волшебное виденье исчезает.*

Замок Ленисти

Госпожа Шерон была от природы очень скупа, но в данном случае ее тщеславие одержало верх. Несколько необыкновенно пышных балов, заданных госпожой Клерваль и всеобщее поклонение, оказываемое этой даме, подзадорили госпожу Шерваль поскорее устроить сватовство, которое должно было увеличить ее в ее собственных глазах и в глазах света. Она предложила ускорить свадьбу племянницы с Валанкуром, обещая выдать ей приданое, с условием, чтобы мадам Клерваль со своей стороны наградила племянника. Мадам Клерваль, приняв в соображение, что Эмилия, вероятно, будет наследницей теткингого богатства, дала свое согласие. Между тем Эмилия до последней минуты ничего не знала об этой сделке, пока, наконец тетка не приказала ей готовиться к свадьбе, которая будет отпразднована без дальнейшей проволочки. Удивленная и ничего не понимающая в этом неожиданном решении, состоявшемся даже без участия Валанкура, – он не знал о том, что произошло между обеими тетками и не смел надеяться на такое счастье, – Эмилия решительно воспротивилась поспешной свадьбе. Мадам Шерон, однако, из духа противоречия так же горячо настаивала на немедленной свадьбе, как прежде запрещала всякие сношения с Валанкуром. Подумав, Эмилия решила отбросить свою щепетильность; Валанкур теперь тоже был уведомлен об ожидавшем его счастье и явился к ней молить о согласии.

В то время как шли приготовления к свадьбе Эмилии, Монтони был объявлен женихом госпожи Шерон, и хотя госпожа Клерваль была очень недовольна, узнав о предстоящем браке, и желала бы помешать союзу Валанкура с Эмилией, но совесть подсказывала ей, что она не имеет права играть чувствами молодых людей. Госпожа Клерваль, хотя и светская женщина, не умела, как ее приятельница, довольствоваться поклонением и почетом, но слушалась голоса своей совести.

Эмилия с беспокойством замечала усиливающееся влияние Монтони на госпожу Шерон и его частые посещения. Ее мнение об этом итальянце сходилось с мнением Валанкура, с самого начала невзлюбившего Монтони. Однажды утром она сидела за работой в павильоне, наслаждаясь приятной свежестью весеннего воздуха и любуясь на яркие краски окружающего ландшафта; вместе с тем она слушала Валанкура, который читал вслух, но часто откладывал книгу в сторону и беседовал с Эмилией; вдруг ей пришлось сказать, что тетушка просит ее к себе немедленно. Едва успела она войти в уборную, как ей бросилось в глаза расстроенное лицо тетки, представлявшее резительный контраст с ее светлым, веселым нарядом.

– Ну, племянница, – начала госпожа Шерон с видимым смущением, – я нарочно послала за вами... мне надо сообщить вам одну новость: с этих пор вы должны считать синьора Монтони своим дядей, – мы обвенчались сегодня утром...

Удивленная не столько самой свадьбой, сколько таинственностью, с какой она совершилась, и волнением, с каким тетка сообщала эту новость, Эмилия подумала, что, вероятно, это

сделалось по желанию Монтони, а отнюдь не самой тетки. Но тетке, очевидно, хотелось представить дело совсем в другом свете, и она прибавила:

– Вот видите ли, я желала избежать хлопот и пиров; но теперь церемония окончена, я не намерена больше скрывать своего замужества и прикажу слугам, чтобы они признавали синьора Монтони своим господином.

Эмилия сделала слабую попытку поздравить тетку по случаю ее, очевидно, легкомысленного брака.

– Теперь я намерена отпраздновать свою свадьбу довольно парадно, – продолжала мадам Монтони, – а чтобы не терять времени, я воспользуюсь приготовлениями, уже сделанными для вашей свадьбы, которая, разумеется, будет отложена на некоторое время. Ваше венчальное платье уже готово; я желаю, чтобы вы показали в нем на моем празднике. Прошу вас также сообщить месье Валанкуру, что я переменила фамилию, а уж он уведомит об этом мадам Клерваль. Через несколько дней я даю большой вечер и намерена их также пригласить.

Все это так ошеломило Эмилию, что она почти не отвечала госпоже Монтони, и побежала сообщить новость Валанкуру.

Он, по-видимому, мало удивился, услышав об этой поспешной свадьбе, но когда узнал, что намерены придаться к случаю, чтобы отложить его собственную свадьбу, и что даже убранство замка, сделанное ради свадебного дня его и дорогой Эмилии, послужит для празднования бракосочетания госпожи Монтони, его взяла досада и негодование. Он не мог скрыть своих чувств от Эмилии; на него не подействовали даже попытки ее рассеять его печальные мысли и заставить посмеяться над этой новой постигшей их невзгодой.

Когда он прощался с Эмилией, его задушевная нежность глубоко тронула ее; она заплакала, глядя ему вслед, хотя сама не могла дать себе отчета – о чем эти слезы.

Монтони, сделавшись мужем госпожи Шерон, овладел замком и забрал в руки всех его обитателей с апломбом человека, уже давно считавшего дом своею собственностью. Другу его Кавиньи, окружавшему госпожу Монтони лестью и угодливостью, которые она так любила, но которые зачастую возмущали самого Монтони, были отведены отдельные апартаменты, и слуги ходили перед ним по струнке, как и перед хозяином.

Через несколько дней госпожа Монтони, согласно своему обещанию, задала великолепный пир; гостей собралось множество; был там и Валанкур. Госпожа Клерваль извинилась и не приехала. Вначале был концерт, потом бал и ужин. Разумеется, Валанкур все время не отходил от Эмилии. Глядя на нарядное убранство комнат, он не мог сдержать своей досады при мысли, что все это было приготовлено для совсем иного празднества. Но он утешался надеждой, что в скором времени дело устроится по его желанию. Весь вечер госпожа Монтони танцевала, болтала, смеялась, между тем как ее супруг, молчаливый, сдержанный, несколько высокомерный, казался, утомился всем этим шумом и легкомысленным обществом, собравшимся в его доме.

Это было первое и последнее празднество, устроенное в честь их свадьбы. Хотя серьезность характера Монтони и его несколько сумрачная надменность не позволяли ему веселиться на таких празднествах, но он не прочь был появляться в обществе. Ему трудно было бы встретиться в каком бы то ни было кружке с человеком более ловким и более умным, чем он сам; следовательно, в светских сношениях перевес всегда оставался на его стороне, и ему нравилось мериться своими силами и талантами с более слабыми собеседниками и затмевать их. Что касается его супруги, то в тех случаях, когда затрагивались ее ближайшие интересы, она забывала свое тщеславие, и действовала с осторожностью. Убедившись, что другие женщины красивее и изящнее ее, и от природы ревнивая, она стала всячески противиться желанию мужа посещать все светские собрания в Тулузе; очевидно, она боялась для него общества привлекательных женщин.

Прошло лишь несколько недель после свадьбы, как вдруг госпожа Монтони однажды объявила Эмилии, что ее супруг собирается ехать в Италию, как только окончены будут приготовления в дальний путь.

– Сначала мы отправимся в Венецию, где у синьора прекрасный дворец, – заявила она, – а оттуда проедем в его тосканское имение. Но отчего у вас такое унылое лицо, дитя мое? Ведь вы охотница до романтических, красивых видов? Без сомнения, вам понравится наше путешествие.

– Как, и я, тоже поеду с вами? – удивилась Эмилия.

Само собой разумеется; как могли вы предположить, что мы бросим вас здесь одну. Я вижу, вы все думаете о шевалье Валанкуре; он, кажется, еще не уведомлен о нашем отъезде, но он скоро узнает обо всем. Синьор Монтони отправился известить госпожу Клерваль о том, что мы уезжаем, и вместе с тем сказать ей, что о предполагаемом союзе вашем с Валанкуром не может быть и речи.

Равнодушие, с каким госпожа Монтони уведомляла племянницу о том, что она должна расстаться, быть может, навсегда с человеком, с которым ей на днях предстояло соединиться на всю жизнь, усугубляло еще горе Эмилии. Как только она получила способность говорить, она спросила, какая же причина этой неожиданной перемены в чувствах тетки к Валанкуру. Но из слов тетки она ничего не могла понять, кроме того, что синьор Монтони не желает этого союза и находит, что Эмилия может сделать гораздо более блестящую партию.

– Я предоставляю это дело всецело моему мужу, – прибавила мадам Монтони, – но должна сказать, что Валанкур никогда не пользовался моим расположением; меня уговорили, иначе я никогда не дала бы своего согласия на его брак с вами. Я была настолько слаба, – со мной это иногда случается, – что не могла хладнокровно видеть чужого горя, и вот я уступила вам, вопреки рассудку. Но синьор Монтони совершенно ясно доказал мне безрассудство этого брака и в другой раз ему уже не придется укорять меня. Я решила, что вы подчинитесь тем, кто сумеет руководить вами, – я все устрою, что нужно, для вашего счастья.

Может быть, Эмилия в другое время и оценила бы красноречивые доводы тетушки, но в ту минуту она была так поражена неожиданным ударом, обрушившимся на ее голову, что почти не понимала, что ей говорят. Каковы бы ни были слабости госпожи Монтони, она уж никак не могла упрекнуть себя в излишнем сострадании и нежности к другим людям, в особенности же к Эмилии. То же самое тщеславие, что раньше побуждало ее породниться с семейством госпожи Клерваль, теперь, наоборот, заставляло ее расторгнуть эту помолвку: ее собственный брак с Монтони удовлетворял ее честолюбие, и она задалась целью сыскать более выгодную партию для племянницы.

В ту минуту Эмилия была слишком удручена, чтобы возражать тетке или просить ее о чем-нибудь; она, было заикнулась, чтобы высказать свои мысли, но от волнения не могла говорить и удалилась в свою комнату поразмыслить на досуге о неожиданном, поразительном для нее событии. Даже в тиши уединения она долго не могла оправиться и собраться с духом; когда она немного успокоилась, ее мысли все-таки были самого мрачного, безотрадного свойства. Она ясно понимала, что Монтони хочет показать свою власть, распоряжаясь ее судьбой; ей даже пришло в голову, уж не старается ли он в пользу своего приятеля, Кавиньи. Перспектива ехать в Италию казалась ей еще непригляднее ввиду тревожного состояния страны, терзаемой в то время междоусобной смутой. Каждое из мелких государств находилось во вражде со своими соседями, и даже каждый частный замок подвергался опасности нападения. Она с ужасом помышляла о том, кому была поручена опека над ней, размышляла о расстоянии, которое будет отделять ее от Валанкура! При воспоминании о возлюбленном, все прочее поблекло, и все ее мысли опять затуманились безысходным горем.

В таком состоянии смятения и расстройства она пробыла несколько часов; когда ее позвали к обеду, она попросила позволения остаться в своей комнате. Но госпожа Монтони

была одна, и просьба молодой девушки не была уважена. Эмилия и ее тетка мало разговаривали за обедом – одна была всецело поглощена своим горем, другая расстроена неожиданным отсутствием Монтони. Не только ее самолюбие страдало от такого недостатка внимательности к ней, но и ревность ее была встревожена: она подозревала, что ее супруг отправился на какое-то таинственное свидание.

Когда прислуга удалилась и обе женщины остались одни, Эмилия завела речь о Валанкуре, но тетка, не смягчаясь жалостью к ней и не чувствуя никаких угрызений совести, даже рассердилась, что смеют сопротивляться ее воле и не признавать авторитета Монтони, хотя Эмилия все время говорила с обычной своей кротостью. Наконец, после долгого, бесцельного разговора Эмилия ушла вся в слезах.

Проходя по сеням, она увидела, что кто-то вошел в ворота; ей показалось, что это Монтони, и она ускорила шага, но вдруг услышала позади знакомый голос Валанкура.

– Эмилия! Эмилия! – окликнул он ее взволнованным голосом.

Она обернулась и, взглянув на него, была поражена его изменившимся лицом.

– Вы плачете, Эмилия! мне необходимо говорить с вами. Как много я должен сказать вам! Пойдемте куда-нибудь, где мы могли бы побеседовать без стеснения. Но вы дрожите, вы больны! Вы едва стоите на ногах...

Увидев открытую дверь какой-то комнаты, он поспешно схватил Эмилию за руку и повел ее туда; но она пыталась выдернуть руку и проговорила с томной улыбкой.

– Мне уже лучше; если хотите видеть тетю, то она в столовой.

– Я хочу говорить с вами, Эмилия, – отвечал Валанкур. – Боже мой, неужели уже до этого дошло? Неужели вы соглашаетесь отвергнуть меня? Выслушайте меня внимательно всего несколько минут!..

– После того, как вы повидаетесь с тетей! – сказала Эмилия.

– Придя сюда, я и так уже был несчастен, – воскликнул Валанкур, – не растравляйте же моего горя этой холодностью, этим жестоким отказом!

Отчаяние, звучавшее в его голосе, тронуло сердце Эмилии; но она все-таки не соглашалась выслушать его раньше, чем он повидается с госпожой Монтони.

– Где же ее муж? Где же сам Монтони? – спросил Валанкур изменившимся голосом, – вот с кем мне необходимо переговорить!

Эмилия, испуганная гневом, сверкавшим в его глазах, со страхом уверяла его, что Монтони нет дома, и просила молодого человека успокоиться.

Один звук ее голоса мгновенно смягчил его раздражение.

– Вы больны, Эмилия, – проговорил он нежно, – ах, эти люди погубят нас обоих!

Эмилия уже не противилась, когда он повел ее в соседнюю приемную. Тон, которым он произнес имя Монтони, так испугал ее за него самого, что в эту минуту ей, прежде всего, хотелось как-нибудь успокоить его справедливый гнев. Валанкур выслушал ее доводы и просьбы и отвечал на них взглядами, полными отчаяния и нежности, скрывая, насколько мог, свои чувства к Монтони, чтобы не встревожить ее еще более. Но она заметила, что это притворство. Его напускное спокойствие беспокоило ее еще более и она, наконец, высказалась, что считает неполитичным требовать свидания с Монтони, так как это может сделать их разлуку окончательной. Валанкур уступил этим убеждениям: своими трогательными просьбами ей удалось исторгнуть у него обещание, что хотя бы Монтони и настаивал на своем намерении разлучить их, однако он, Валанкур, не будет стараться отплатить ему каким-нибудь насильем.

– Ради меня, – проговорила Эмилия, – откажитесь от мести, подумайте, как сильно это заставит меня страдать!

– Ради вас, Эмилия, – отвечал Валанкур, – я сдержу себя, – при этом глаза его наполнились слезами горя и нежности. – Но хотя я даю вам торжественное обещание исполнить ваше желание, однако не ожидайте, чтобы я покорно подчинился этому Монтони: если б я подчи-

нился, я был бы недостойн вас. О, Эмилия, неужели он надолго разлучит меня с вами? Скоро ли вы вернетесь во Францию?

Эмилия пробовала успокоить его уверениями в своей неизменной привязанности; она говорила ему, что через год освободится от опеки тетки, достигнув совершеннолетия, но все эти доводы принесли мало утешения Валанкуру; он знал, что Эмилия и тогда будет находиться в Италии и что власть ее опекунов не прекратится, даже когда они утратят над нею законные права; но он сделал вид, что утешен ее уверениями. Эмилия, успокоенная исторгнутым обещанием и кажущимся самообладанием Валанкура, уже встала, чтобы уйти, как вдруг в комнату вошла ее тетка. Она бросила строгий, укоризненный взгляд на Эмилию, которая тотчас же вышла из комнаты, и с неудовольствием покосилась на Валанкура.

– Не ожидала я от вас такого поступка, – начала она, – и не рассчитывала видеть вас в своем доме, после того как вас известили, что посещения ваши нежелательны; еще менее думала я, что вы будете искать тайного свидания с моей племянницей и что она согласится видеться с вами без моего ведома.

Валанкур, чтобы оправдать Эмилию от такого обвинения, объяснил, что он пришел исключительно с целью видетсья с Монтони. Затем он заговорил о своем деле сдержанно и почтительно, считая такой тон обязательным в разговоре со всякой женщиной, даже и такой, как госпожа Монтони.

Но его объяснения были встречены резким отпором: госпожа Монтони опять стала выражать сожаления, что слишком поддалась чувству сострадания; теперь она сознает безумие своего первоначального решения и во избежание повторения подобной ошибки поручила это дело всецело своему мужу, синьору Монтони.

Однако трогательное красноречие Валанкура до известной степени открыло ей недостойность ее поведения. Она почувствовала стыд, но не угрызения совести. Она сердилась на Валанкура, пробудившего в ней это тягостное ощущение, и по мере того, как росло ее недовольство собой, росла и ненависть к нему. Наконец она до того обозлилась, что Валанкур принужден был удалиться, чтобы не поддаться соблазну наговорить ей резкостей. Он окончательно убедился, что от госпожи Монтони ему не на что рассчитывать: можно ли ожидать жалости или хотя бы простой справедливости от человека, который, сознавая свою вину, не чувствует смиренного раскаяния?

От Монтони он также не ожидал ничего хорошего. Раз известно, что план разлучить влюбленных задуман им, то нельзя было рассчитывать, что он уступит просьбам и доводам, которые, наверное, предвидел раньше. Однако, помня обещание, данное Эмили, Валанкур остерегался пуститься на какую-либо резкость, чтобы напрасно не раздражить Монтони. Поэтому он написал ему письмо, в котором убедительно просил, а не требовал свидания с ним. Сделав это, он решился спокойно ждать ответа.

Госпожа Клерваль играла пассивную роль во всей этой истории. Дав свое одобрение на брак Валанкура, она была уверена, что Эмилия будет наследницей состояния своей тетки. После свадьбы госпожи Монтони она убедилась в тщетности своих надежд, но совесть не позволяла ей принять какие-либо меры, чтобы порвать этот союз. С другой стороны, в ней было слишком мало сердечной доброты и энергии, чтобы содействовать этому браку. Напротив, она была втайне довольна, что Валанкур избавился от помолвки, которую она считала недостойной его, в смысле состояния; точно также и Монтони считал этот брак недостойным такой красивой девушки, как Эмилия. Хотя гордость госпожи Клерваль была задета отказом, которому подвергся один из членов ее фамилии, но она не удостоивала выражать свое неудовольствие и молчала.

Монтони в своем ответном письме заявлял Валанкуру, что их свидание ни к чему не поведет: так как ни та, ни другая сторона не намерены уступать, то оно может вызвать между

ними только лишние пререкания. В силу этих соображений он отказывается видеться с Валанкуром.

Не теряя из виду советов Эмилии и данного ей обещания, Валанкур с трудом удержался, чтобы не пойти немедленно к Монтони и не потребовать того, в чем ему было отказано после его мягкой просьбы. Он написал второе письмо, повторял в нем свою просьбу, подкрепляя ее всеми аргументами, какие только мог придумать. Так прошло несколько дней в мольбах с одной стороны и в неумолимом сопротивлении с другой. Был ли это страх, или стыд, или ненависть, но Монтони упорно избегал человека, глубоко оскорбленного им. Он твердо стоял на своем отказе, не смягчался под влиянием горя, которым дышали письма Валанкура, и нимало не раскаивался в своей несправедливости. Наконец дошло до того, что письма Валанкура отсылались обратно нераспечатанными. Тогда, в первые минуты страстного отчаяния, молодой человек позабыл все обещания, данные Эмилии, кроме клятвы – избегать всякого насилия, – и сам отправился в замок к Монтони с твердым намерением увидеться с ним во что бы то ни стало. Монтони не принял его Валанкур спросил госпожу Монтони, затем мадемуазель Сент-Обер, но слуги наотрез отказались впустить его. Не желая входить в препирательство с прислугой, он, наконец ушел и, вернувшись домой, в состоянии близком к умоисступлению, написал Эмилии о случившемся, – красноречиво изобразил ей терзания своего сердца и умолял ее, раз нет другого средства видеться с ней немедленно, согласиться на свидание с ним без ведома Монтони. Вскоре после отсылки письма, когда страсти его несколько поулеглись, он понял, какую он сделал ошибку, доставив Эмилии новый повод к волнениям. Он отдал бы полжизни, только бы вернуть посланное письмо. Эмилия, однако, была избавлена от огорчения, которое испытала бы, читая его, – избавлена благодаря интриганству госпожи Монтони, еще ранее отдавшей приказание, чтобы все письма, адресованные на имя племянницы, подавались ей самой. Пробежав последнее отчаянное письмо Валанкура, и прочтя нелестные отзывы Валанкура о ее супруге, она без церемонии бросила письмо в огонь.

Тем временем Монтони, сгорая нетерпением поскорее выехать из Франции, поспешно отдавал распоряжения слугам, занимавшимся приготовлениями к отъезду, и торопился закончить все свои дела. Он упорно не отвечал на письма Валанкура, в которых тот, отчаявшись достигнуть большего и подавив свое разочарование, умолял только об одном – о разрешении проститься с Эмилией. Узнав, что она, в самом деле, уедет через несколько дней, что ему не суждено больше видеться с ней, он забыл все соображения осторожности и написал к Эмилии второе письмо, в котором осмелился предложить ей тайный брак. Это письмо точно так же попало в руки госпожи Монтони. Настал последний день пребывания Эмилии в Тулузе, но Валанкур не получил еще ни одной строки, которая облегчила бы его тоску или хотя бы подала надежду, что ему разрешено будет прощальное свидание с Эмилией.

В этот период мучительной неизвестности для Валанкура Эмилия находилась в состоянии какого-то столбняка, что часто бывает при великих, ошеломляющих несчастьях. Любя Валанкура нежной привязанностью и давно привыкнув считать его своим другом и спутником на всю жизнь, она не могла себе представить счастья вдали от него. И вдруг она узнает, что ее разлучают с ним, быть может, навеки и увозят на чужбину, куда до нее даже не будут доходить вести о возлюбленном... И все это бедствие творится над ней по произволу какого-то чужого человека, каким был для нее Монтони, и по капризу женщины, которая еще так недавно сама желала ускорить ее свадьбу! Тщетно старалась Эмилия совладать со своим горем и примириться с неизбежным. Молчание Валанкура больше огорчало, чем удивляло ее; но когда настал последний день ее пребывания в Тулузе и она не знала, позволено ли ей будет проститься с ним, она впала в отчаяние и, несмотря на свое нежелание говорить о нем с госпожой Монтони, спросила тетку, неужели ей откажут в этом последнем утешении? Тетка отвечала, что свидание ей, конечно, не разрешат, прибавив, что после дерзостей, которые наделал ей Валанкур в

последний раз, и после того, как он осмелился преследовать синьора своими письмами, никакие просьбы не помогут.

– Если шевалье рассчитывает на такое одолжение с нашей стороны, – сказала она, – то ему следовало бы вести себя совсем иначе: терпеливо ждать, пожелаем ли мы оказать ему такую милость, а не упрекать меня за то, что я не считаю для себя лестной его женитьбу на моей племяннице; ему не следовало приставать к моему мужу. Его поведение с начала до конца было крайне самонадеянным и дерзким; я не желаю даже слышать его имени; советую вам отделаться от этой блажи и вздорных печалей, быть такой, как все люди, и не строить мрачной физиономии, точно вы плакать собираетесь. В самом деле, хотя вы молчите, вы не можете скрыть своей печали от моей проницательности: я вижу, что вы и сейчас готовы удариться в слезы, несмотря на мое приказание!

Эмилия отвернулась, скрывая слезы, затем вышла из комнаты, чтобы наплакаться вволю. Весь день прошел для нее в таком глубоком отчаянии, какого она еще никогда не испытывала в жизни. Перед тем как ложиться спать, она села в кресло и просидела так, не двигаясь, погруженная в скорбь, долгое время после того, как все домашние отправились на покой. Она не могла отогнать от себя мысли, что расставалась с Валанкуром окончательно и никогда более его не встретит – уверенность эта возникла не случайно – ее, по-видимому, оправдывали разные обстоятельства: и предстоящее длинное путешествие, и неизвестность насчет того, когда она вернется, и строгие запрещения, которым она подвергалась. Кроме того, у нее было какое-то впечатление, не то предчувствие, что она уезжает от Валанкура навсегда. Каким страшным казалось ей расстояние, которое разлучит их! Исполинская стена Альп воздвигнется между ними, и целые области будут разделять их. Жить где-нибудь в соседней провинции, жить в той же стране, хотя бы и не видясь с ним, представлялось ей счастьем в сравнении с этой ужасной далью...

Она так сильно волновалась, размышляя о своем горе и о том, что никогда больше не увидится с Валанкуром, что вдруг почувствовала приступ слабости и дурноты; беспомощно озираясь и отыскивая, что бы такое могло оживить ее, она случайно взглянула на окно. Едва имела она силу подойти к нему, распахнуть раму и сесть. Струя воздуха несколько оживила ее, и кроткий лунный свет, падавший на длинную аллею высоких вязов успокоил ее смятенный дух. Она решила выйти в сад, надеясь, что движение и свежий воздух облегчат мучительную боль, сковывавшую ее виски. В замке все было тихо; спустившись по широкой лестнице в прихожую, откуда был выход прямо в сад, она тихонько, как ей казалось, неслышно, отперла дверь и вступила в аллею. Эмилия шла, то ускоряя, то сдерживая шаги, так как в тени меж деревьев ей все чудились какие-то движущиеся фигуры, и она боялась, не шпионы ли это, посланные теткой. Но желание еще раз увидеть павильон, где она проводила столько счастливых часов с Валанкуром, любуясь далекими видами Лангедока и родной Гаскони, преодолели ее страхи и она направилась к террасе, которая тянулась вдоль всего верхнего сада, сообщаясь с нижним несколькими мраморными ступенями в конце аллеи.

Дойдя до этих ступеней, она остановилась и оглянулась – теперь отдаленность ее от замка пугала ее среди тишины и темноты ночной. Но, не заметив ничего страшного, она поднялась на террасу. Там при лунном свете ясно виднелась широкая дорожка к павильону; луна серебрила кусты и деревья, окаймлявшие павильон справа, и кудрявые макушки других деревьев, подымавшихся в уровень с балюстрадой из нижнего сада. Эмилия остановилась, прислушиваясь; ночь была так тиха, что ни малейший звук не пропадал даром. Но в ушах ее раздавалась печальная песня соловья да легкий шелест листьев; она продолжала идти к павильону. Достигнув его, она, несмотря на темноту, скрывавшую знакомые предметы, ощутила волнение: окна были отворены и в их пролеты, окаймленные зеленью, виднелся пейзаж, залитый мягким лунным светом: рощи и равнины смутно рисовались вдали, на горах виднелись более яркие блики света; в соседней реке отражалось трепетное сияние луны.

На Эмилию эта красивая сцена производила тем более сильное впечатление, что она вызывала перед нею образ Валанкура.

– Ах, – проговорила она с тяжким вздохом, падая в кресло у окна, – как часто мы, бывало, сживали с ним на этом самом месте и любовались окрестностями! Никогда, никогда мы уже не будем сидеть здесь вместе! никогда, никогда уже не увидим друг друга!

Вдруг слезы ее иссякли под влиянием страшного испуга: чей-то голос раздался, у самого павильона. Эмилия вскрикнула. Знакомый голос послышался снова. Действительно, это был Валанкур; не прошло секунды, как он уже очутился около нее и заключил ее в свои объятия. Долго они не могли от волнения произнести ни слова.

– Эмилия... – начал наконец молодой человек, сжимая ей руку, – Эмилия!.. – и опять умолк.

Но в тоне, которым он произнес ее имя, сказалась вся его нежность, вся его скорбь.

– О, дорогая моя! – продолжал он после длинной паузы. – Вот я опять вижу вас, опять слышу ваш голос! Я бродил по этим садам много-много вечеров подряд, со слабой, очень слабой надеждой когда-нибудь встретить вас. Это был единственный шанс, оставшийся мне. Слава Богу! наконец-то мне улыбнулось счастье, – я не обречен на безвыходное отчаяние!

Эмилия заговорила о своей глубокой привязанности и старалась успокоить волнение его души. Валанкур в течение нескольких минут произносил лишь отрывистые, бессвязные слова. Поуспокоившись немного, он сказал:

– Я пришел сюда вскоре после солнечного заката и с тех пор все подкарауливал вас в саду и павильоне; хотя я потерял всякую надежду видеть вас, но не мог оторваться от этого места, близкого к вам; вероятно, я пробродил бы вокруг замка до самого рассвета. О, как медленно тянулось время... Однако каждая минута приносила с собою разнообразные ощущения. По временам мне казалось, что я слышу приближающиеся шаги, но вслед затем опять наступала глубокая, мертвая тишина! Когда вы открыли дверь павильона и за темной я не мог удостовериться, вы ли это, сердце мое так безумно забилося надеждой и страхом, что я едва перевел дыхание... В тот момент, когда я услышал тихий звук вашего голоса, все мои сомнения исчезли – но не мои опасения, пока вы не заговорили про себя обо мне. Тогда, забыв, что я могу испугать вас своей порывистостью, я не в силах был долее молчать. О, Эмилия! это – минуты, когда горе и радость так жестоко борются в сердце человека, что оно едва в силах вынести борьбу...

Эмилия в душе сознавала истину этих слов. Радость, которую она почувствовала, встретив Валанкура в ту самую минуту, когда уже отчаялась когда-нибудь его видеть, вскоре сменялась горем, лишь только она оправилась и получила способность рассуждать. Перед ней с жестокой ясностью восстали картины будущего. Она старалась обрести спокойное достоинство, необходимое для нее, чтобы перенести это последнее свидание; Валанкур же не мог совладать с собою; вскоре восторг его перешел в отчаяние, и он в страстных выражениях стал изливать горе разлуки. Слушая его, Эмилия молча плакала; желая овладеть своей собственной тоской и успокоить его, она упомянула, что надежда еще не погибла. Но с пронизательностью страсти он тотчас же угадал обманчивость этих иллюзий, которые она старалась внушить ему и себе самой.

– Вы уезжаете от меня в дальние края, – промолвил он, – там вы войдете в новое общество, приобретете новых друзей, новых поклонников! Вас заставят позабыть меня и уговорят заключить новые узы! Зная это, могу ли я надеяться, что вы вернетесь ко мне и будете моею!

Голос его замер в тяжелых вздохах.

– Так вы думаете, – возразила Эмилия, – что муки, которые я терплю, вызваны лишь поверхностным, временным чувством! вы думаете...

– Вы страдаете, и страдаете из-за меня! О, Эмилия, как сладостны и как горьки для меня эти слова! Какую отраду и вместе с тем скорбь они вливают в мою душу. В сущности, я не дол-

жен сомневаться в прочности вашей привязанности; однако истинная любовь требовательна: она всегда открыта подозрениям, иногда самым безрассудным – она постоянно ищет новых доказательств. Вот почему я всегда оживаю, услышав от вас уверение, что я вам дорог; а за отсутствием этих уверений я опять впадаю в тоску сомнения и слишком часто – в отчаяние. Но какой я злодей, – воскликнул он, опомнившись, – что терзаю вас – да еще в такие минуты! Мне бы следовало поддержать и утешить вас!

Эта мысль наполняла сердце Валанкура бесконечной нежностью, но вслед затем его опять охватило отчаяние, и он стал жаловаться на предстоящую жестокую разлуку в выражениях столь страстных, что Эмилия тоже невольно поддалась его отчаянию. В промежутках между судорожными рыданиями Валанкур целовал ее и пил слезы, катившиеся по ее щекам; но тут же с жестокой укоризной заметил ей, что, по всей вероятности, она больше никогда не будет плакать о нем. Как ни старался он обуздать себя и говорить более спокойно, но мог только восклицать:

– О, Эмилия! сердце мое разрывается! я не в силах расстаться с вами! Теперь я смотрю на ваше лицо, держу вас в моих объятиях! но пройдет немного времени и все исчезнет, как сон. Я буду смотреть, но не увижу вас, буду стараться воскресить в моем воображении черты вашего лица, но воспоминание будет ускользать от меня; я буду прислушиваться к вашему голосу, но память моя окажется бессильной! я не могу, не могу оставить вас! Зачем должны мы верить счастью нашей жизни произволу чужих, жестоких людей? О, Эмилия! решитесь довериться своему собственному сердцу, решитесь стать моей навеки!..

Его голос задрожал и оборвался. Эмилия продолжала молча плакать. Тогда Валанкур предложил ей напрямик обвенчаться с ним немедленно: завтра рано утром она должна уйти из дома госпожи Монтони, а он встретит ее, и они пойдут в церковь августинцев, где монах обвенчает их.

Молчание, с каким она выслушала предложение, внушенное страстью и отчаянием и сделанное ей в такой момент, когда сердце ее было размягчено печалью разлуки, быть может вечной, а рассудок ее был затуманен любовью и страхом, – это молчание ободрило Валанкура и пробудило в нем надежду, что план его не будет отвергнут.

– Скажите хоть слово, моя Эмилия! – настаивал он с пылкостью, – дайте мне услышать ваш голос, решайте мою судьбу!

Она все молчала; щеки ее похолодели, она готова была лишиться чувств. Однако она не потеряла сознания. Валанкуру показалось, что она умирает; он стал звать ее по имени, хотел броситься в замок за помощью, но, видя, в каком она состоянии, побоялся отойти и оставить ее одну.

Через несколько минут она глубоко вздохнула и стала оправляться. Борьба между ее любовью и долгом по отношению к сестре своего отца, отвращение к тайному браку, боязнь попасть в затруднения, которые, в конце концов, могут вовлечь ее возлюбленного в неприятности и раскаяние, все эти разнообразные чувства нахлынули на ее душу, уже истерзанную горем: наступил момент, когда ее рассудок как бы замер и перестал мыслить. Но долг и здравый смысл, наконец, восторжествовали над любовью и мрачными предчувствиями. Более всего она боялась испортить жизнь Валанкуру и возбудить в нем впоследствии слишком поздние сожаления, а это непременно должно произойти, по ее мнению, в случае, если они обвенчаются украдкой. И вот, вооружившись неженской твердостью, она решила лучше перенести свое теперешнее несчастье, чем причинить целую цепь несчастий в будущем.

С чистосердечием, доказывавшим, как искренне она уважала и любила Валанкура, и делавшим ее еще дороже его сердцу, она высказала ему причины, почему она отвергает его предложение. Он энергично разбил те доводы, которые касались его личного благосостояния в будущем; но вместе с тем у него возникли нежные опасения насчет нее самой. Раньше он этого не сознавал: страсть и отчаяние отуманивали его рассудок. Любовь, побудившая его предло-

жить ей тайный брак, напротив, заставляла его отказаться от такого намерения. Но переворот в его мыслях жестоко поразил его сердце. Ради Эмилии он бодрился и старался казаться спокойнее, но лютая тоска так и рвалась наружу.

– О, Эмилия, говорил он, – я должен уйти, я должен оставить вас, и я знаю, что расстанусь с вами навеки!

Судорожные рыдания не дали ему договорить: оба молча плакали. Наконец, Эмилия, вспомнив, что их могут застать, и, сознавая неприличие продолжительного свидания, решилась не подавать повода к злословию и, призвав на помощь все мужество, сказала ему последнее прости.

– Пойдите! – воскликнул Валанкур. – Умоляю вас, остановитесь. Мне надо так многое сказать вам! В смятении моих чувств я говорил только о том предмете, который в данную минуту поглощал меня всецело. Но я избегал касаться другой вещи, тоже чрезвычайно важной, отчасти боясь, чтобы вы не подумали, будто я говорю это с неблагородной целью напугать вас и насильно заставить согласиться на мое последнее предложение.

Эмилия, сильно взволнованная, вышла с Валанкуром из павильона, и, пока они ходили по террасе, Валанкур говорил ей:

– Про этого Монтони ходят странные слухи... Уверены ли вы, что он родственник госпожи Кенель и что действительно так богат, как кажется?

– Я не имею причин сомневаться в этом... – промолвила Эмилия с беспокойством. – Насчет родства его с госпожой Кенель я не могу усомниться; что же касается его состояния, я не имею данных судить о нем и прошу вас сказать мне все, что вы слышали.

– Но и мои сведения тоже очень смутны и неопределенны: я получил их от одного итальянца, рассказывавшего другому лицу об этом Монтони. Они говорили о его женитьбе. Итальянец заметил, что если это тот Монтони, которого он знает, то вряд ли он может составить счастье женщины. Вообще он отзывался о вашем родственнике очень дурно, между прочим, сделал кое-какие намеки относительно его честности и доброй славы, и это возбудило мое любопытство: я решился задать ему несколько вопросов. Он был сдержан в своих ответах, но после некоторого колебания признался, что за границей Монтони слывет за человека отчаянного и сомнительной репутации. Он упомянул между прочим о замке, принадлежащем Монтони в Апеннинах, и о каких-то темных обстоятельствах, касающихся его прежнего образа жизни. Я просил его объяснить точнее; но никакие убеждения не подействовали, он ни за что не соглашался сообщить мне что-нибудь определенное насчет Монтони.

Я заметил ему, что если Монтони владеет замком в Апеннинах, то это доказывает, что он не без роду и племени, и опровергает слух, будто он бедняк, без гроша за душой! На это итальянец покачал головой, и видно было, что он мог бы сказать многое, если б только захотел. Надежда узнать что-нибудь более определенное и положительное заставила меня довольно долго оставаться в его обществе, и я несколько раз пытался возобновить разговор. Но итальянец замкнулся в молчании, заметив только, что все это, конечно, слухи, а слухи часто распространяются со злым умыслом и доверять им не следует. – Дольше я не мог настаивать; я понял, что мой итальянец уже раскаивается, что проболтался, и я остался в невыносимой неизвестности. Подумайте, Эмилия, что я должен выстрадать, видя, что вы уезжаете на чужбину, находясь во власти человека такой подозрительной репутации, как Монтони! Но я не хочу напрасно тревожить вас: очень возможно, что итальянец ошибается... Однако, Эмилия, подумайте хорошенько, прежде чем отдать свою судьбу в руки этого подозрительного господина!..

Валанкур стал взволнованно ходить взад и вперед по террасе, а Эмилия стояла, облокотясь на балюстраду, погруженная в глубокую думу. Рассказ Валанкура встревожил ее сильнее, чем можно было ожидать. Она никогда не любила Монтони. Она часто со страхом наблюдала его пронизывающий, пламенный взгляд, его надменную смелость и угадывала его душу всякий раз, как какой-нибудь случай, хотя бы пустой, заставлял его обнаруживать свои чувства; даже

в спокойном состоянии ее всегда пугало выражение его лица. На основании таких наблюдений она была склонна верить намекам итальянца и не сомневалась, что они относятся именно к Монтони, мужу ее тетки. Мысль очутиться на чужбине во власти этого страшного человека была для нее ужасна; конечно, не один страх побудил бы ее согласиться на немедленный брак с Валанкуром: она чувствовала к нему нежнейшую любовь; и все-таки ни страх, ни любовь не могли победить в ней сознания долга, бескорыстное участие к интересам Валанкура и ее скрытое отвращение к тайному браку.

Но Валанкура трудно было убедить. Он ясно видел под влиянием своей любви и опасений за возлюбленную, что путешествие в Италию будет ужасным несчастьем для Эмилии; поэтому он решил настойчиво противиться ее отъезду и умолял ее дать ему право стать ее законным защитником.

– Эмилия! – убеждал он торжественным тоном, – теперь не время взвешивать сомнительные и сравнительно пустячные обстоятельства, которые могут повлиять на наше будущее благосостояние. Теперь я яснее, чем когда-либо, вижу ту цепь серьезных опасностей, которым вы подвергнетесь по милости такого человека, как Монтони. Эти темные намеки итальянца очень серьезны, они только подтверждают мое собственное мнение о Монтони, утвердившееся на основании того, что я прочел на его лице. Я боюсь этого итальянца; я умоляю вас, Эмилия, ради меня и ради вас самих, остерегайтесь зла, которое я предвижу. О, Эмилия! позвольте мне, моей любви, моим рукам удержать нас на краю гибели, дайте мне право защищать вас!

Эмилия вздыхала, между тем как Валанкур продолжал умолять, уговаривать, убеждать со всей энергией страстной любви, но по мере того как он преувеличивал возможные страдания, которым она подвергнется на чужбине, – туман, заволакивающий ее мысли, стал, напротив, рассеиваться и она поняла, насколько преувеличены эти опасения. Намеки итальянца основаны на слухах, и хотя внешность Монтони действительно может хоть отчасти оправдать дурные толки, но в точности ничего неизвестно. Пока она пыталась самым мягким образом убедить Валанкура в его ошибке, она подала ему повод к новой ошибке. Его лицо и голос изменились – они выражали глубокое отчаяние.

– Эмилия! – проговорил он, – эта минута самая горькая, какую я испытал в жизни! Вы не любите, вы не можете любить меня! Если б вы любили, вы не стали бы рассуждать так хладнокровно, так разумно! Я терзаюсь тоской при мысли о нашей разлуке и о тех несчастьях, которые ожидают вас. Я готов был бы на все, чтобы только избавить вас от этой беды, спасти вас. Нет, Эмилия, нет, вы меня не любите!

– Теперь нечего терять время на сетования и укоры, – молвила Эмилия, стараясь быть спокойной, – если вы еще не знаете, как вы дороги моему сердцу, то никакие мои уверения не смогут убедить вас в этом.

Она замолчала, и слезы ее полились градом. Эти слова, эти слезы мгновенно отрезвили Валанкура и внушили ему уверенность в ее любви. В волнении он только восклицал: «Эмилия, Эмилия!», – и плакал, целуя ее руки. Но через несколько минут Эмилия очнулась от временной слабости и проговорила:

– Я должна оставить вас: уже поздно, мое отсутствие из замка может быть замечено. Думайте обо мне, любите меня... когда я буду далеко! Эта уверенность будет моей единственной поддержкой!

– Думать о вас, любить вас!.. – воскликнул Валанкур.

– Старайтесь умерить свою печаль, старайтесь – ради меня.

– Ради вас!

– Да, ради меня. Я не могу оставить вас в таком состоянии.

– Так не покидайте меня совсем! – горячо возразил Валанкур. – Для чего нам расставаться, или расставаться на более долгий срок, чем до завтрашнего дня.

– Право, я не в силах выносить этого, – отвечала Эмилия. – Вы терзаете мое сердце. Но я никогда не соглашусь на ваше поспешное, необдуманное предложение.

– Если б мы могли располагать временем, Эмилия, то мое предложение не было бы поспешно. Но мы должны подчиняться обстоятельствам.

– Да, именно – это необходимо! Я уже высказала вам все, что у меня на сердце. Душа моя изнемогает!.. Вы согласились с силой моих аргументов, но ваша любовь создала какие-то смутные страхи, которые только еще более измучили нас. Пощадите меня! не заставляйте повторять снова все мои доводы!

– Пощадить вас? – воскликнул Валанкур. – Я злодей, я был настоящим злодеем, думая только о себе! Мне следовало обнаружить стойкость мужчины и поддерживать вас... а вместо того я только усилил ваши страдания своим ребяческим поведением! Простите, Эмилия, подумайте о расстройстве моих чувств, теперь, когда я должен расстаться со всем, что мне дорого – простите! Когда вы уедете, я с горьким раскаянием буду вспоминать, как мучил вас; я буду желать, тщетно желать увидеть вас, хотя на одну минуту, чтобы я мог облегчить вашу печаль...

Слезы опять не дали ему говорить; Эмилия плакала вместе с ним.

– Я докажу, что я достоин вашей любви, – сказал Валанкур, – по крайней мере, я не стану затягивать этих горьких минут. Эмилия! моя дорогая! не забывайте меня: Бог ведает, увидимся ли мы когда-нибудь в жизни! Поручаю вас Его святому покровительству. О Боже! защити и сохрани ее!

Он прижал ее руку к своему сердцу. Эмилия почти без чувств упала к нему на грудь; они не могли ни плакать, ни говорить. Наконец Валанкур, овладев своим отчаянием, старался успокоить и поддержать ее; но она, казалось, не сознавала даже, что он говорит ей. Только по вздохам, вырывавшимся по временам из ее груди, видно было, что она не в обмороке.

Он медленно повел ее к замку, все время проливая слезы и что-то говоря ей; но она отвечала одними вздохами, пока они не достигли калитки в конце аллеи. Тогда только она как будто очнулась и, оглянувшись, заметила, как близко они находятся от замка.

– Здесь мы должны расстаться, – проговорила она, останавливаясь, – зачем затягивать прощание? Научите меня твердости, я изнемогаю!

Валанкур боролся с самим собою, чтобы казаться спокойным.

– Прощай, любовь моя, – промолвил он с торжественной нежностью, – поверь мне, мы с тобою еще встретимся для того, чтобы уже не расставаться!

Голос его оборвался, но в ту же минуту он оправился и продолжал более твердым тоном:

– Вы не знаете, как я измучаюсь, пока не получу от вас известия. Я буду писать вам, но мне страшно подумать, как редко мои письма будут доходить до вас! Поверьте мне, дорогая, ради вас я постараюсь выносить разлуку с твердостью. Но, простите! я так мало твердости проявил сегодня.

– Прощайте, – слабо вымолвила Эмилия. – Когда мы расстанемся, я припомню многое, что я имею еще сказать вам.

– То же самое будет и со мною! – сказал Валанкур. – После каждого свидания с вами, я всегда припоминал, что мне нужно было высказать вам то-то и то-то; я страдал, что не в состоянии этого сделать. О, Эмилия! ваше лицо, на которое я смотрю в настоящую минуту, скоро скроется с глаз моих, и все усилия воображения не будут в состоянии нарисовать его с точностью. О, какая бесконечная разница между этой минутой и следующей: теперь мы вместе, я могу любоваться вами, а тогда откроется мрачная пустота, я буду странником, изгнанным из своего единственного приюта!

Снова Валанкур прижал ее к своему сердцу, и так продержал ее несколько мгновений, горько плача. Слезы опять облегчили ее опечаленную душу. Еще раз сказали они друг другу «прости» и расстались. Валанкур с усилием оторвался от нее и торопливо пошел по аллее. Эмилия, направляясь к замку, слышала его удаляющиеся шаги. Она прислушивалась к этим

звукам, они становились все слабее и, наконец, совсем замерли. Осталась одна тишина ночная. Эмилия поспешила вернуться в свою комнату искать отдыха, но – увы! – сон не являлся, и она долго не могла забыться!

Глава 14

*В какие бы края ни бросила меня судьба,
Где б ни скитался я,
Но сердце верное всегда полно тобою.*

Гольдсмит

Рано утром дорожные экипажи уже стояли у ворот. Суэта прислуги, бегавшей взад и вперед по коридорам, разбудила Эмилию от тревожного полусна; всю ночь ее преследовали кошмары и рисовались печальные картины ее будущей судьбы. Проснувшись, она старалась отогнать от себя мрачные впечатления, навеянные этими снами. Но от воображаемых ужасов она прямо перешла к сознанию грустной действительности.

Вспомнив о том, что она рассталась с Валанкуром, быть может, навсегда, она почувствовала страшное замирание сердца. Однако она употребила все усилия, чтобы забыть мрачные предчувствия и сдерживать печаль, которой не в силах была избежать; благодаря этим усилиям по ее грустному лицу разлилось выражение кроткой покорности, которая, подобно тонкой дымке, наброшенной на прекрасные черты, делала их еще более интересными и трогательными. Но госпожа Монтони ничего не заметила в ее лице, кроме непривычной бледности, и сделала ей соответственный выговор: зачем предаваться каким-то фантастическим печалям и показывать всему свету, что она не в силах отказаться от своей нелепой любви? При этих словах тетки бледные щеки Эмилии вспыхнули яркой краской – краской негодования, но она не возразила ни слова.

Вскоре после этого Монтони появился в столовой за завтраком, говорил мало и только торопил с отъездом.

Окна комнаты выходили в сад. Проходя мимо окна, Эмилия увидела то место, где она накануне прощалась с Валанкуром; от этого воспоминания опять больно сжалось ее сердце, и она поспешно отвернулась, чтобы ничего не видеть.

Наконец багаж был уложен, и путешественники уселись в экипажи; Эмилия рассталась бы с этим домом радостно, без единого вздоха, если б только поблизости от него не жил Валанкур.

С небольшого пригорка она оглянулась назад на Тулузу и далеко раскинувшиеся равнины Гаскони, позади которых на дальнем горизонте виднелись гордые вершины Пиренеев, озаренные утренним солнцем. «Милые, родные горы! – подумала она про себя. – Как много пройдет времени, прежде чем я снова увижу вас, и за это время, сколько злых бед могут обрушиться на мою голову! О, если б только я была уверена, что когда-нибудь вернусь сюда и опять увижусь с Валанкуром, и что он по-прежнему будет любить меня, тогда я уехала бы спокойная!»

Деревья, нависшие над крутыми краями дороги, грозили скрыть из виду далекую перспективу; но голубоватые вершины все еще виднелись из-за темной зелени, и Эмилия продолжала смотреть из окна кареты, пока, наконец, густые ветви окончательно не заслонили вида.

Вскоре нечто другое привлекло ее внимание. Она заметила какую-то фигуру, ходившую взад и вперед вдоль берега, в шапке, украшенной пером, признаком военного звания, и нахлобученной на глаза; но вот при стуке колес человек круто обернулся, и Эмилия узнала Валанкура; он сделал приветственный знак рукою, выбежал на дорогу и, подойдя к окну кареты, сунул в руку Эмилии письмо. Отчаяние сквозило в его глазах, но он старался улыбнуться. Воспоминание об этой вымученной улыбке запечатлелось в сердце Эмилии навеки. Она высунулась из окна и еще раз увидела его стоящим на пригорке у берега, прислонившегося к высокому дереву и следящего глазами за каретой. Он опять махнул рукой, а она долго не спускала глаз с его исчезающей фигуры. Наконец на повороте дороги он скрылся из виду.

Остановившись у соседнего замка, чтобы прихватить с собой синьора Кавиньи, наши путешественники продолжали путь по равнинам Лангедока, причем Эмилию бесцеремонно отсадили в другую карету вместе с горничной госпожи Монтони. Присутствие служанки мешало Эмилии прочесть письмо Валанкура, – она не желала, чтобы кто-нибудь был свидетелем ее слез и волнений. Но ей так страстно хотелось прочесть последнее послание возлюбленного, что дрожащая рука ее ежеминутно порывалась сломать печать.

Наконец путники достигли одной деревушки, где переменили только лошадей, не останавливаясь на отдых. Но когда сделали привал для обеда, Эмилия могла воспользоваться случаем, чтобы прочесть письмо. Хотя она никогда не сомневалась в искренности любви Валанкура, однако новые уверения и клятвы, заключавшиеся в письме, оживили ее скорбную душу; она заплакала над письмом, с нежной грустью спрятала его на груди, с тем, чтобы вынимать каждый раз как почувствует себя особенно удрученной тоской, и после этого стала думать о своем возлюбленном с меньшей печалью, чем за все время их разлуки. Между прочими просьбами, особенно для нее отрадными, потому что они выражали силу и степень его любви, и потому что выполнение этих просьб могло доставить ей некоторое утешение в разлуке, он умолял ее всегда вспоминать о нем на закате солнца.

«Таким образом, наши мысли будут всегда встречаться, – писал он, – я тоже буду наблюдать солнечный закат, и для меня будет счастьем думать, что ваши глаза устремлены на тот же предмет, что наши души беседуют между собой. Вы не знаете, Эмилия, какого утешения я жду от этих моментов, но, надеюсь, вы сами это испытаете».

Нечего и говорить, с каким чувством Эмилия в тот же вечер наблюдала солнце, заходящее над обширной равниной, – наблюдала, как огненный шар закатывался над горизонтом в той стороне, где живет Валанкур. После этого душа ее немного успокоилась и примирилась с судьбой – такого отрадного чувства она еще не испытала со времени брака ее тетки с Монтони.

Несколько дней путешественники ехали по равнинам Лангедока, затем, вступив в Дофинэ и пространствовав некоторое время среди гор этого романтического края, вышли из экипажей и начали восхождение по Альпам. Здесь перед ними открылись такие дивные картины, что их не описать никакими красками. Воображение Эмилии было так поражено новыми изумительными зрелищами, что иногда они вытесняли даже мысли о Валанкуре, хотя в большинстве случаев, напротив, еще живее воскрешали его образ перед ее духовными очами. Она вспоминала виды в Пиренеях, которыми они любовались вместе, думая, что ничто на свете не сравнится с их величием. Как бы она желала теперь высказать другу, свои новые чувства, по поводу этих чарующих картин, как желала бы, чтоб и он разделил ее восторг! Она старалась при этом угадывать его замечания и почти воображала, что он тут, с нею. Она как будто вознеслась в какой-то новый мир, оставив внизу все пустые тревожения, все мелочные чувства: теперь в ее душе царили одни лишь высокие, благородные помыслы, расширяя ее понятия и одухотворяя ее сердечные чувства.

С каким ощущением упоения и нежности встретила она мыслями с Валанкуром в обычный час солнечного заката, когда, бродя в горах, она наблюдала пышное светило, опускающееся за вершины, окрашивая своими последними лучами снеговые пики; вслед затем торжественный мрак спустился над землею и, когда потухла последняя искра света, Эмилия отвела глаза свои от запада почти с такой же грустью и сожалением, какое испытываешь при разлуке с возлюбленным другом. Это настроение еще усиливалось распространяющимся мраком и смутными звуками, которые слышатся только во тьме, делая тишину еще более жуткой – шелест листьев, легкий вечерний бриз, дующий после солнечного заката, или журчание далекого потока.

В эти первые дни путешествия по Альпам местность представляла поразительную смесь пустынности и населенности, культуры и уединения. На краю грозных пропастей, в углублениях меж утесов, над которыми часто носились облака, виднелись селения, шпицы и башни

монастырей, между тем как виноградники и зеленые пастбища расстилались яркими пятнами у подножия отвесных глыб мрамора и гранита, вершины которых, поросшие альпийским кустарником или совершенно оголенные, громоздились одна над другой, пока не завершались снеговым пиком, откуда с грохотом низвергался в долину пенящийся поток.

Снег еще не растаял на вершинах Мон Сени, через проход которого направлялись наши путешественники; но, глядя на светлое озеро и расстилающуюся внизу равнину, окруженную дикими скалами, Эмилия представляла себе в воображении, как должна быть прекрасна эта равнина летом, когда стают снега и пастухи погонят стада из Пьемонта пастись на эти цветущие аркадские плоскогорья.

По мере того, как путешественники спускались в сторону, обращенную к Италии, пропасти становились все круче, а виды еще более дикими и величественными. Эмилия с наслаждением наблюдала различные эффекты света и теней на снеговых вершинах в течение дня – утром они алели нежным розовым сиянием, в полдень горели ярким блеском, а вечером окрашивались пурпуром заката. Следы присутствия человека в этих местностях можно было заметить только в какой-нибудь незатейливой хижине пастуха или охотника, или в примитивном мостике, перекинутом через поток, для более удобной охоты за сернами в горах, – не будь этих признаков, можно было бы подумать, что только дикие козы да волки отваживаются бродить над страшными пропастями и по головоломным кручам.

Однажды, когда Эмилия смотрела на один из таких опасных мостиков, с пенящимся под ним водопадом, в голове ее сложилось следующее стихотворение.

Сонет

Усталый путник карабкался весь вечер
По грозным кручам Альп,
По краю страшных пропастей он пробирался,
Где притаилась мрачная опасность.
Вдруг видит он из-за деревьев
Луною озаренную избушку пастуха.
Но между ним и нею бездна страшная зияет.
Через которую перекинута утлая сосновая доска.
В ужасе немом стоит он на краю,
Глядит: внизу клубится, пенится поток
С ужасным, диким ревом —
Он все еще колеблется, дрожит, трепещет,
Бойтся и назад вернуться и отважиться вперед.
В отчаянии наконец он пробует ногой шатающуюся доску,
Дрожащая нога скользит, он вскрикивает, падает вниз и погибает!

Очнувшись среди облаков, Эмилия часто с безмолвным трепетом наблюдала, как они белыми волнами клубились под ее ногами; в первые минуты, закрывая густой пеленой все находящееся внизу, они образовали как бы отдельный мир хаоса; а иногда они растягивались тонким слоем и сквозь них просвечивали уголки пейзажа – поток, с непрерывным грохотом катящийся вниз по скалистым пропастям, исполинские белеющие снегами утесы или темные макушки сосновых лесов на полугоре. Но трудно описать восторг Эмилии, когда она, пройдя сквозь целое море паров, впервые увидела Италию; стоя на краю одного из грозных утесов, нависших над Мон Сени и охраняющих вход в этот волшебный край, она глянула сквозь разорванные облака и увидела у ног своих зеленеющие долины Пьемонта, а далее равнины Ломбардии, тянущиеся до краев горизонта, где смутно вырисовывались башни Турина.

Суровое величие окружающих зрелищ – область гор, громоздящихся вверх, глубокие пропасти внизу, волнующиеся темные леса дубов и сосен, стремительные потоки, ниспадающие между скал, в иные минуты похожие на облака тумана, а в другие на ледники, – все эти подробности казались еще величественнее и суровее рядом со спокойной красотой итальянского ландшафта, расстилающегося внизу на необозримое пространство, до самого горизонта, где небо с землей как бы ступеньвалось общим голубоватым тоном. Госпожа Монтони всякий раз пугалась и вздрагивала, заглядывая вниз в пропасти, по краю которых носильщики портшеза пробирались с легкостью и проворством серн. Эмилия также трепетала при виде этих крутых обрывов, но к страху ее примешивались и другие чувства, более отрадные – восхищение, удивление и какое-то благоговение, никогда еще не испытанное ею.

Между тем носильщики, дойдя до какой-то площадки, остановились отдыхать; путешественники расположились на скале; Монтони с Кавиньи затеяли между собою спор относительно того, где Ганнибал переправлялся через Альпы. Монтони утверждал, что в Мон Сени, а Кавиньи стоял за Сен-Бернарский проход. Слушая эти разговоры, Эмилия живо представляла себе в своем воображении все бедствия, вынесенные полководцем в этом опасном походе. Она мысленно видела перед собой ряды войск, тянущиеся между ущельев и по грозным кручам, ночью озаряемые светом костров или факелов. Ей чудилось поблескивание оружия в полумраке, чудились знамена, развевающиеся над ратью, между тем как отдаленный звук труб разносится эхом в ущельях и на каждый сигнал мгновенно отвечает бряцание оружия. Она с

ужасом представляла себе, как горцы, засевающие на скалах сверху, бросали в войска обломки камней, как солдаты и слоны обрывались и падали в глубокие пропасти; ей даже казалось, будто она слышит грохот падающих камней; но вот фантастические ужасы, наконец, уступали действительности, и она со страхом убеждалась, что сама стоит на той головокружительной высоте, откуда падали, как ей представлялось, полчища Ганнибала.

Тем временем госпожа Монтони, поглядывая вниз на равнины Италии, мечтала о великолепии дворцов и замков, подобных тем, которыми она будет владеть в Венеции и Апенниннах, и в своих грезах уже представляла себя какой-то царствующей принцессой. Успокоившись от тревог ревности, мешавших ей принимать у себя тулузских красавиц, она решила теперь устраивать в своем доме концерты, хотя сама не обладала ни слухом, ни музыкальностью, и «conversazione», хотя не имела никакого таланта вести интересный разговор. Главной ее целью было все-таки затмить веселостью своих вечеров и пышностью ливрей всю венецианскую знать. Эти блаженные мечтания несколько омрачались, когда она вспоминала о своем супруге, который, хотя и не прочь был пользоваться выгодами этих приемов, однако всегда относился презрительно к легкомысленному светскому чванству; но вслед затем она успокаивалась, соображая, что ему лестно будет щегольнуть в родном городе среди своих друзей тем богатством и величием, каким он пренебрегал во Франции, – и опять она предавалась сладким мечтаниям.

Путешественники, спускаясь с гор в долину, покидали область зимы и попадали в страну, где царил чудная весна. Небо уже принимало прекрасный оттенок, свойственный одной Италии; зеленые лужайки, благоухающие кустарники и цветы весело выглядывали между скал, иногда свешиваясь бахромой с суровых вершин и красуясь пучками по их склонам. На дубах и рябинах лопались почки и превращались в листву; по мере того как наши путники спускались ниже и ниже, кое-где в солнечных уголках стали показываться апельсины и миртовые деревья; желтые цветочки их выглядывали из темной зелени, смешиваясь с пурпурными цветами граната и более бледными цветами толокнянки, растущей по верхнему краю скал; а еще ниже расстилались пастбища Пьемонта, где ранние стада щипали роскошную весеннюю травку.

Река Дория, берущая начало в вершинах Мон-Сени, на протяжении многих миль низвергавшаяся через пропасти, теперь стала принимать уже менее бурный, хотя и не менее романтический характер, приближаясь к зеленым долинам Пьемонта, в которые наши путешественники спускались с наступлением вечера. Опять Эмилия очутилась среди спокойной красоты пастушеской природы, среди стад на склонах, поросших зелеными рощами и красивым альпийским кустарником. Зеленая пастбищ, пестреющая нежными весенними цветами, среди которых были желтые ранункулы и душистые лиловые фиалки, была так прекрасна, как Эмилии еще никогда не доводилось видеть. У нее почти являлось желание самой сделаться пьемонтской поселянкой, чтобы жить в одной из прелестных, обвитых зеленью хижин, выглядывающих из-за скал, и беспечно проводить часы среди романтических долин. Она со страхом думала о тех часах, днях и месяцах, которые ей придется прожить под властью Монтони, – о прошлом же она вспоминала с горем и сожалением.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.